

Часть VI.

ПАРАДИГМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОШЛОГО И ИХ АКТУАЛИЗАЦИЯ

А. В. Хазина, Л. В. Софронова (Нижегородский ГУ)

Концепция «всеобщей истории» в историческом нарративе Посидония – опыт стоика и становление традиции

Интеллектуальным открытием эллинистической историографии, качественно изменившим эволюцию исторического дискурса, особенно в области методологии, принято считать рождение идеи всеобщей истории. Общим местом является представление о том, что постепенное формирование данной идеи в трудах предшественников Полибия (Антисфена, Эфора, Дурида Самосского, Гиеронима из Кардии) завершилось ее концептуальным оформлением в принципиально новом по типу историческом сочинении Полибия, которое сам автор чаще называл *πραγματεία, πραγματικὴ ἱστορία* (прагматическая история).

Вопрос состоит в том, будет ли корректным, как это довольно часто делают современные исследователи Полибия, считать его фундаментальный труд неким завершенным и даже «каноническим концептом всеобщей истории» в эллинистической историографии?

Весьма своеобразным этапом в процессе формирования идеи всеобщей истории представляется творчество философа-стоика Посидония Апамейского (ок. 135 – ок. 50 гг. до н. э.), значительно обогатившего методологический инструментарий исторического нарратива.

Специфику «всеобщей истории» у Посидония, во-первых, определяло фундаментальное представление о единстве мироздания, выраженное через стоические понятия «космополиса», «симпатии», «сцепленности». В его историческом нарративе этот принцип находил реализацию в идее множественности миров, человеческих форм жизни в единой ойкумене. Этот же источник питал у Посидония постановку таких проблем, как основания взаимодействия различных этносов друг с другом, принципы формирования их взаимных «прав и обязанностей», аксиологичность и «направленность» исторического процесса.

Вторым фундаментальным принципом исторического нарратива Посидония было учение о «причинности», которое привело его к концепции «многоуровневой и многофакторной» обусловленности исторического события. Поэтому, по мысли Посидония, исторический нарратив способен не просто описывать, но объяснять мировую историю.

Наконец, представление о двойственности психической организации человека, сформулированное Посидонием в его концепции «души»,

определяло его поиски внутренней мотивации поступков в исторических сюжетах. Отсюда же – особый интерес Посидония к проблеме взаимодействия индивида и толпы, к проблеме личности в истории.

Комплекс этих базовых представлений Посидония и обуславливал смысл и назначение «всеобщей истории» как объективной данности и как исторического нарратива. Эти же представления, по-видимому, определяли и взгляды Посидония на суть и цель труда самого историка.

Если у Полибия назначение «прагматической истории» формулировалось весьма прагматически – *«показать, когда и почему все известные части земли подпали под власть римлян»*, то Посидоний трактовал всеобщую историю не как свод военно-политических фактов, а как повествование *«о делах богов и людей, объясняющее мир»*.

Уильям Дж. Коннелл (США)

Между всемирной и локальной историей: ренессансная революция в историописании

В докладе пересматривается традиционный нарратив, восходящий к Фётеру и признанный Гибертом и Кокрейн, относящийся к изменениям в западноевропейской историографии между XIV и XVI вв.

Раньше исследователи доказывали, что наиболее важным изменением стало развитие жанра политического историописания, возникшего в качестве имитации великих историков античности, особенно Фукидида, Полибия, Саллюстия и Ливия. Всемирным историям уделялось мало внимания; Кокрейн, например, считал, что они оказались практически незатронутыми переменами, связанными с Ренессансом. В докладе будет показано, что всемирная история – основополагающая часть исторического нарратива. Непосредственной причиной изменений, проявившихся в историях Флоренции Бруни и Макиавелли, а также созданном Биондо повествовании об упадке Рима, являлся критический пересмотр августиновской традиции всемирной истории, основанной Орозием. Всемирная история была затем переработана Маркантонио Сабеллико – в ответ на появление всемирных хроник Форести и Ролевинка – с учетом всех ренессансных новшеств. Подобным же образом, внимание не было уделено и соперничеству местных исторических традиций. Это соперничество проявлялось на региональном уровне (например, в ответах Манетти и Нанни из Витербо на историю Бруни) и на национальном уровне, при создании таких трудов, как «Английская история» Полидора Вергилия или «Хроника Германии» Себастиана Франка. Ренессансное историописание было непосредственным результатом изменения политических альянсов и идеологий на уровне региональных и национальных государств, противопоставленных городам, вселенской империи и божественному провидению.

Всемирная история как история глобальная

На рубеже столетий вновь вырос интерес к исторической макроперспективе, ориентированной на изучение многообразных последствий развития глобальных взаимосвязей, сформировалась новая научная дисциплина – глобальная история, которая опирается на представление о когерентности мирового исторического процесса. Принципиальный контекстуализм, способный обеспечить выход за рамки ставших привычными административных, национальных и европоцентристских границ, за пределы «имперского и колониального дискурса», выступает как насущная задача исторической науки.

Становление глобальной / транснациональной истории в ее современном варианте имеет истоком более общие процессы, связанные с постнеклассической научной парадигмой, и отражает развитие мыслительной традиции, в которой принцип целостности сочетается с учетом различий и многообразия. Глобальная история представляет собой попытку на новом теоретическом уровне вернуться от микроисторической оптики к интегрирующему взгляду на историю, охватить человечество как некую структуру в историческом развитии взаимосвязей ее отдельных частей. Глобальная история может быть понята и как осмысление процесса мировой интеграции, исторического движения к более взаимосвязанному мировому порядку, к *общемировой культуре*, понимаемой как живое взаимодействие локальных и национальных культур. Предмет глобальной истории – это именно взаимосвязи (экономические, политические и культурные) между разными странами и цивилизациями.

Аргументация сторонников глобальной истории, удивительным образом перекликается с тем, что более века назад Н. И. Кареев, констатировавший «постепенное объединение судеб отдельных стран и народов», описывал как «всемирно-историческую точку зрения»: «Всемирная история не есть только сумма частных историй, т.е. историй отдельных стран и народов... [Она] является перед нами как процесс постепенного установления политических, экономических и культурных взаимоотношений между населением отдельных стран, т.е. процесс постепенного объединения человечества, расширения и углубления связей, мало-помалу образующихся между разными странами и народами... и таким образом над суммой частных историй возникает общая, универсальная, всемирная» [Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории. СПб., 1903. С. 5-7].

Сегодня многие специалисты считают, что не следует противопоставлять друг другу синонимичные, по сути дела, термины «мировая» и «глобальная» история и в конструировании «генеалогии» гло-

бальной истории обращаются к имеющейся в историографии традиции. Однако в новом контексте пересматриваются и такие, казалось бы привычные, понятия, как «всемирная история», «европейская история», «региональная история» и даже «компаративная история», активно обсуждается вопрос о соотношении глобальной истории и цивилизационного анализа, который делает упор на разнообразие и уникальность локальных цивилизаций. Речь, конечно, не идет об универсальной теории исторического процесса. Современное понимание глобальной истории вовсе не исключает, а – напротив – подразумевает наличие множества локальных вариантов и траекторий развития и далеко ушло от линейных и европоцентристских в своей основе обобщающих схем в духе христианского универсализма и классических модернизационных теорий.

Поиск современного взгляда на бесконечное разнообразие исторического опыта формирует новую стратегию компаративной истории, которая связана не с де-контекстуализацией сходных явлений в рамках универсалистской, или же эволюционной (европоцентристской, по своей сути) парадигмы, а с преодолением европоцентризма, с акцентированием – наряду с обнаруживаемыми аналогиями – контрастов и различий, с последовательным учетом разнообразия локальных контекстов и культурных традиций. В этой связи пространственно-темпоральные перспективы «новой локальной истории» в ее социокультурном наполнении, встраиваясь в *сетевую* структуру глобальной истории, обретают новый эвристический потенциал. Знаменательно, в частности, само недавнее возникновение термина *histoire croisée* («перекрестная» или «переплетенная» история), призванного обозначить новую парадигму, которая в отличие от традиционной компаративной истории, работающей в режиме синхронии, отдает приоритет изучению динамики межкультурных взаимодействий, как между разными обществами, странами, регионами, так и между интеллектуальными традициями и научными дисциплинами [De la comparaison à l'histoire croisée / Sous la dir. de M. Werner et V. Zimmermann. P., 2004]. Параллельно и иногда альтернативно употребляются и обсуждаются другие близкие по содержанию понятия, прежде всего так называемая *связанная история* [The Making of the Modern World: Connected Histories, Divergent Paths / Ed. by R. W. Strayer. N.Y., 1989]. В последнее десятилетие компаративная история переживает «второе рождение», новый смысловой сдвиг, сопровождаемый переопределением исследовательских задач и базовых принципов. «Новая компаративная история» (в разных версиях) преодолевает («пересекает») границы априорно устанавливаемых национальных, региональных и даже локальных контекстов, сосредоточивает внимание на существующих множественных взаимосвязях, взаимодействиях и взаимовлияниях между сравниваемыми

объектами и их культурно-историческими контекстами, нередко используя для концептуализации изучаемых явлений понятие «культурного переноса/трансферта» (отсюда – *histoire des transferts*) и выявляя его медиаторов.

Конечно, глобальная и мировая история сегодня – это не коллекция национальных и региональных нарративов. Сторонники новых макроисторических подходов имеют разные точки зрения по многим важным вопросам, включая периодизацию мировой истории, баланс между западными и незападными обществами в разные периоды истории, соотношение между глобальной и региональными или национальными историями, но сходятся в понимании насущной необходимости особой формы истории для исследования глобальных процессов в их исторической ретроспективе.

С. И. Маловичко (РГАУ-МСХА, Москва)

После государственной истории: историографические поиски коэксистенциального целого

Параллельно с утверждением в конце XVIII – первой половине XIX вв. европейских государств проходила институционализация национальных, а затем и государственных историй. Предложенная классической историографией модель государственно-национальной истории позволяла немецким, британским, французским, русским и др. авторам использовать историографическую практику тотального присвоения истории одному народу, национальному духу, государству, империи.

Метанарративный стиль помогал отбирать события национально-го прошлого, соединять их в причинно-следственной последовательности, помещать в актуальный социальный контекст, в предопределённую национально-государственную историческую “реальность” и представлять непрерывную аргументацию политического, социального, экономического, а также культурного развития в истории.

На отношение историографии к национально-государственной истории сильное влияние оказал постмодерн и рефлексия о кризисе исторического метанарратива. Постмодерн деконструировал исторический дискурс, снял маску научной строгости с современной историографии, представив национально-государственную историю наивной относительно своих собственных концептуальных оснований.

Ранее ориентированные на сбор фактов историки, предполагали, что есть только одно национально-государственное прошлое, которое следует открыть. Историзм предлагал особую технологию исторического познания, связанного с потребностями историографии модерна. Историки выстраивали национальную идентичность таким образом, что создаваемая конструкция позволяла смотреть на истоки и переломные

этапы исторического пути государства как на детерминанты его нынешней идентичности. Заслужено можно признать то, что он показал – известное нам историческое прошлое является риторическим конструктом настоящего. Поэтому *образы и пространства*, а не события становятся объектами изучения историков пост-постмодерна.

Актуализация пространства и пространственных образов в историографии связана с осмыслением процессов изменяющих их – это *глобализация* и *глокализация*. Происходит *сжатие* или даже *исчезновение пространства*, но не в физическом, а в психологическом и идеологическом смысле. Пространство становится иррелевантным потому, что перестает быть традиционным, оно утрачивает свое изначальное родство с населяющими его людьми (Л. Г. Ионин, 2005).

С конца XX в. дисциплинарная историография стала все четче формулировать задачу выхода исследований за национальный, узко государственный уровень. Неслучайно, раздались призывы «спасать историю от нации» (А. McKeown, 2004). Усиливающаяся глобальная перспектива заставляет историков рефлексировать о том, что отдельные индивиды не только части наций, но принадлежат всему человечеству. Исторические опыты, отрицающие универсальность категории человечества, лишаящие других равного статуса, противоречат основам современного общества и целостности истории, поэтому традиционная история, служащая основанием здания нации, становится опасна (J. Rüsen, 2003). Перед лицом тревожных изменений заметно желание властных структур повторно сформировать набор исторических отношений между национальными, государственными и глобальными пространствами. Это явление заметно в современной российской практике контроля власти над новыми учебниками по истории России. Однако новые-старые «объединяющие» исторические нарративы мало учитывают множественность индивидуальных и коллективных интересов, основанных на альтернативных идеологиях и историях.

Напротив, историки пост-постмодерна откликаясь на вызовы времени, приступили к поиску актуального коэксистенциального целого человечества, пытаются изучать исторические связи между изменяющимися пространствами, сообществами и локусами. Социокультурная ситуация заставляет осмысливать мир в единстве его многообразия на основе компаративных подходов и делает необходимым поиск глокального и глобального субъектов исторического действия.

Еще в 1960-е гг. в качестве ответа этноцентризму оформилась мировая (компаративная) история, но на рубеже XX–XXI вв. все чаще стали говорить о *глобальной* и *транснациональной*, а также о *новой локальной* историях, которые, несмотря на разницу в рамках и объектах исследования, имеют важный объединяющий принцип – *субъект исторического действия, который не тождествен государству*.

Глобальная, транснациональная и новая локальная истории, при всем своем различии, не останавливаются на политически ограниченных пространствах, а сосредотачиваются на негосударственных акторах истории. Исследователи пытаются изменить уже известные пространственно-временные структуры, чтобы по-новому организовать исторический рассказ. В частности, для глобальной и транснациональной историй европейское прошлое – становится только одной из многих возможных тем. Историков интересуют концентрации поселений, культурные и экономические связи. Новая локальная история концентрирует внимание на *пространстве* и *пространственных образах*, проявляет интерес к *образу жизни* и т.п., что также несет в себе импульс отказа от обслуживания национально-государственного нарратива.

Актуализация коэксистенциального целого помогает историографическим направлениям пост-постмодерна выявлять в государствах, нациях, локальных общностях не территориально-генетические «закономерности», а изобретения и/или конструкции, в истории которых важно видеть поддерживавшие их культурные факторы, связь социального и культурного пространства, пейзажа и идентичности. Манифестирующие экстравертный тип знания глобальная, транснациональная и новая локальная истории строятся на *способе видеть* мультисоциальные и мультикультурные объекты исследования, на пространственно-временной идее, которая не отменяет линейную хронологию, но представляет ее уже довольно ограниченной.

И. Н. Ионов (Институт всеобщей истории РАН)

Изучение теории и истории цивилизаций и ее реактуализация в XXI веке

Особенностью изучения теории и истории мировых цивилизаций в XX в. были попытки классического, т.е. сциентистского, объективистского и системного подхода к ним. Это позволяло данной области исследований играть особую роль в мировой историографии, одновременно создавая основания для высокого статуса государств (Англия, Франция, Германия), исследователей, позитивной самоидентификации студентов и их убежденности в правильности полученного знания. Но, несмотря на усиление в XX в. роли конкретно-исторического знания в исследовании цивилизаций, в центре размышлений историков цивилизаций оставалась иерархическая модель единства религиозно-философского (культурно-экологического) метафизического знания, которая не столько обобщала, сколько порождала систему представлений и идентификаций, составлявшую феноменологический, аподиктический образ собственной цивилизации и других цивилизаций.

В значительной степени подобные представления поставляли материал для деятельности *Международного общества по сравнительному изучению цивилизаций*, возникшего при непосредственном участии А. Дж. Тойнби и П. Сорокина. Важнейшей деятельностью общества было издание журнала *Сравнительное изучение цивилизаций*, но в сущности это было сравнение сходных элементов метафизических схем. Даже во франкоязычных странах, несмотря на сильнейшее влияние релятивистского направления в школе «Анналов» и постмодернизма, вплоть до 1980-х гг. структурализм и системный подход помогли объединять в единое целое идеи М. Блока, Ж. Гурвича, Ф. Броделя, А. Турена, П. Арьеса, Ж. Пиаже, Р. Барта, М. Козна, Ю. Кристевой.

Научность, объективность и системность данной модели в значительной мере определялась субъект-объектным подходом, который ставил образ исследователя и его собственной цивилизации (или высокой цивилизации, к которой он себя причислял) выше всех других (по характеру религиозной веры или степени религиозной экспансии, расового единства, динамике инноваций, развития демократии, глубине научного анализа), а характер внутренних связей цивилизации задавался как нормативный. Таким образом, как бы восстанавливалось на новом уровне метафизическое учение о противостоянии культуры и варварства. В результате объект исследования всегда оставался целостным, не связанные с ним формы самопознания и самоидентификации провозглашались ложными, а сама возникающая схема – принципиально не критикуемой извне (со стороны марксизма или аборигенного знания).

Правда, в конце XX – начале XXI вв. были разрушены как сами основания аподиктичности подобных моделей, так и многие имперские предпосылки подобной аподиктичности, стали создаваться диалогические, субъект-субъектные познавательные основания для конструирования схем сравнения цивилизаций. Но критика, как оказалось, тоже имела пределы. Борьба с метафизикой нередко вела к разрушению оснований диалога цивилизаций, так как не предполагала наличия исторических макрообъектов вообще. Цель восстановления национальных государств, напротив, приводила к использованию образов цивилизаций для реконструкции образов старых (или обновленных) империй.

Особенно остро эти недостатки проявлялись в странах, где борьба западников и почвенников длилась веками и не находила выхода. В частности, в России, где самоопределение в качестве «варварской» или «мировой» существует около 200 лет. Обозначились три тупика отечественных цивилизационных исследований: сциентистский, представленный работами К. К. Токаевой, феноменологический (В. В. Ильин), антипопулистский (И. Г. Яковенко, А. А. Пелипенко), антизападнический (В. В. Аверьянов). Во всех этих случаях цивилизационный подход, который должен в принципе заменить религиозный, метафизический, государственнический (по крайней мере, в форме апологии сакральной империи) приводит к воспроизводству этих черт, причем закрывает путь к диалогу с другими направлениями. Дело сводится к

выбору идеала метафизики (метафизика прогресса или метафизика традиции), а также идеала империи (западной океанической или восточной континентальной). Главным остается выбор между типами империй и принесением им в жертву неспособного к самоорганизации народа.

При этом в рамках постколониализма сохраняются лишь некоторые ограниченные основания для диалога западных и незападных государств, основанные на уважении прав человека. В России подобные же стратегии развивает «клиотерапия» Б. Н. Миронова и сходные стратегии С. А. Нефедова, Т. Шанина, других крестьяноведов.

В наиболее яркой форме познавательные основания для новых направлений мировой истории предлагает Ю. Остерхаммель, который отчасти критикует ориентализм Э. Саида (как «видение», а не теорию), в особенности догматизм его эпигонов, и по мере сил развивает глобалистскую традицию У. Мак-Нила, максимально опирающегося на профессиональную традицию исторического знания и одновременно дистанцирующегося как от модели XIX в. («культура-варварство»), так и от моделей начала XXI в. («универсальность-локальность», «тотальность-парциальность», «сближение-взаимоудаление»). Глобализм в данном случае не противоречит локализму, так как предполагает сетевые глокалистские отношения центра и периферии, развитие на собственной периферии, как минимум двойную компетенцию исследователей. Остерхаммель предлагает критиковать не только непонимание Запада и Востока, но тотальность человеческого взаимонепонимания, как форму проявления борьбы за собственную идентичность.

В какой-то мере это проект противостоит проекту Г. Эмара и отчасти – проекту Й. Рюзена, предлагающим преодолевать непонимание тех путей, которыми другие народы пишут мировую историю. Остерхаммель же предлагает изучать столкновения культур как форму культурно-исторических кризисов. Вместе с тем в его план входит собирание опыта усваивания культурного разнообразия, по крайней мере, с раннего Нового времени, способов консервирования этого многообразия (как экологических особенностей, потенциальных форм эволюции).

О. В. Воробьева (Институт всеобщей истории РАН)

Тойнби и проблема создания глобальной истории

В интеллектуальной ситуации конфликта двух противоположных подходов к изучению прошлого – макро- и микроистории идеи классиков глобальной истории могут исполниться новой значимости. А. Тойнби, признав в последние годы жизни ограниченность некоторых из своих генерализирующих конструкций, артикулировал многие проблемы, способные расширить горизонты исторической рефлексии.

Проблема первая: вопрос о причинах преобладания на том или ином этапе микро- или макроистории – это вопрос внутренних потребностей науки и вненаучных факторов, но можно ли эти уровни позна-

ния поставить в некий ряд, в котором каждый последующий член логически предполагает предыдущий? Не из-за недостатка ли эмпирических исследований долгое время создавали не теорию, а философию истории? «Откаты» и «возвраты» макроистории связаны с постоянным поиском новых путей создания интегральной картины прошлого.

Проблема вторая: должен ли вопрос о соотношении микро- и макроистории стоять в плоскости «или – или». Тойнби никогда не соглашался с теми, кто, отрицая объективную причинность, закономерность и повторяемость исторических событий, делал вывод о том, что история должна заниматься только единичным – невозможно плодотворно изучать часть, не изучая целого; наконец, историческая наука без синтеза не сможет выполнять своей основной социальной функции – ориентировать людей во времени и пространстве. По мнению Тойнби, историк должен уметь хорошо работать сразу с двумя инструментами: микроскопом и телескопом. Работа с микроскопом – это источниковедческая работа, создание «материальной базы» исследования. Работа с телескопом предполагает глубокое знакомство с теорией и методами науки и создание обобщений, проецируя накопленный эмпирический и типологический материал на объемную картину всемирной истории. Историки должны рассматривать прошлое в различных масштабах вплоть до масштаба времени самой Вселенной – большой истории.

Проблема третья: роль интеллектуальных моделей и теоретических конструкций в историческом исследовании. По мнению Тойнби, модели должны присутствовать (и присутствуют независимо от нашего желания) на горизонте любого исторического исследования, ибо эмпирические описания – не самоцель; цель – проблема, ценность, смысл. Люди, которые изучают все больше о все меньшем, сами применяют номотетический подход, но – в обедненной форме. Теория и эмпирическое исследование постоянно рециркулируют друг через друга.

Проблема четвертая: могут ли глобальные модели пронизывать всю сферу человеческих отношений? Нет, т.к. а) наше знание о прошлом ограничено нашим незнанием будущего, важное сегодня может обернуться тривиальностью в будущем и наоборот; б) всякое крупное историческое явление – сложное образование, различные аспекты которого требуют разных исследовательских подходов; любая теория или модель устанавливает свой объем поля возможностей и механизм их реализации; в) обобщающие теории устаревают, взрываются новыми фактами и подвергаются корректировке, а иногда и полностью опровергаются. Тем не менее, они необходимы для апробации форм развития исторического знания. Глобальная история – это история, «стремящаяся к глобальности, но никогда не могущая стать таковой».

Проблема пятая: способ создания глобальных построений. Разномасштабным историческим реальностям соответствуют специфические языки описания. Синтез недостижим простым приращением ло-

кального материала; надо искать то поле человеческой деятельности, на котором можно выявить нечто общее в теоретических основаниях разных модальностей исторического процесса. Если проанализировать способ создания «Постижения истории», налицо явная коллизия микро- и макроуровней в построениях. Причину этого Тойнби видел в особенностях человеческого мышления, невозможности пользоваться телескопом и микроскопом одновременно. Следует различать задачу создания теории всей истории и теорий отдельных процессов и изменений. Последние не могут работать в регистре глобальной истории, но с их помощью можно понять, как отдельные события и явления микромира конструируются в серии, приводящие к сдвигам на макро-уровне. Требуются теории высокого уровня, которые можно специфицировать для описания реальной жизни в соответствии с тем периодом времени и масштабом общества, который мы хотим изучить. Нужна более тонкая и сложная теория синтеза, чем прежние теории глобальной истории.

Проблема шестая: на каком исследовательском поле могут создаваться глобальные построения? Заявив, что данная программа невозможна внутри дисциплинарных барьеров, Тойнби бросил вызов академическим демаркационным линиям, специализациям *PhD*-индустрии. При этом он был уверен, что междисциплинарность может воплощаться не только в обращении к гуманитарным наукам, но в привлечении методов и концепций естественных наук и математики. Может ли существовать единая модель междисциплинарного синтеза, единый набор участвующих в нем дисциплин? По-видимому, все зависит от степени соответствия методов объекту, предмету и масштабу исследования, а также от квалификации ученого или коллектива исследователей.

Вероятно, А. Тойнби был прав и тогда, когда писал, что междисциплинарные связи должны быть не только горизонтальными, но и вертикальными, т.е. иметь отношение к метарефлексии. Для историка в этом нет ничего унижительного, поскольку любая наука стремится к логической универсализации своих достижений. Кроме того, не следует весь смысл философии истории видеть в ее прикладном значении для истории науки. Знание может быть ценным само по себе; это относится и к знанию о путях получения знания. Гносеологию и эпистемологию можно развивать не только спекулятивно, но и аналитическим путем, осуществляя анализ мыслительных процедур. Наконец, возможен ли вообще исторический синтез без онтологического измерения?..

Одним из важнейших является также вопрос объективности и верифицируемости полученных результатов. Другой пример: Тойнби, пожалуй, как никто другой сумел показать роль историографии в глобальных построениях – способной не только выявлять факты и заниматься их первичным обобщением, но и размещать и интерпретировать их в глобально-историческом повествовании.

**Новая британская история:
единый дискурс или контексты национальной истории**

Новая британская история – одно из самых обсуждаемых явлений в современной англо-американской историографии последних двух десятилетий, которое материализуется в диаметрально противоположных исследованиях, обогащающих современную историческую науку концептуально развернутыми суждениями специалистов. Окончательно сложившееся к исходу XX века, оно восходит своими корнями к конструктивной критике знаменитого «британского» проекта Дж. Пококка. Призывавший в свое время соединить параллельно существовавшие в историографии дискурсы английской, валлийской и шотландской истории XVI–XVII вв. в рамках единого «островного» контекста, Пококк призывал создать на основе такого комплексного видения единый исторический дискурс англоговорящего архипелага.

За пределами очерченного таким образом британского мира оказывались неразрывно связанные с историей архипелага практически все говорившие на кельтских языках этнокультурные общности. Целиком выпадала гойдельская этнокультурная группа, говорившая на ирландском, шотландском и мэнском языках. Следовательно, вообще не имевшим никакого влияния на трактуемую таким образом британскую историю признавалось существование коренных жителей Ирландии, Северной Шотландии (Хайленда) и о. Мэн. Среди т.н. бриттской этнокультурной общности – носители валлийского, корнского и кембрийского языков считались Пококком полностью ассимилированными уже к концу XVI в., а любые проявления ставших уже к тому времени архаичными языковых и культурных реалий трактовались им как несущественные. Явно недооценивалось влияние населения Гебридов, Оркнейских и Шетландских островов, на территории которых влияние имевшего скандинавское происхождение населения оставалось в раннее новое время весьма значительным.

Ограничивавший геополитическую протяженность единой «островной» истории языковой концепт Пококка закладывал перспективы для весьма тенденциозного переписывания единой национальной истории, в рамках которого английскому (исходно говорившему на английском языке) конструкту отводилась решающая роль в цементировании ее однородного фундамента. Традиционное противостояние национальных школ в рамках современной историографии Британских островов от этого только усиливалось.

Новая британская история в этой связи может рассматриваться, с одной стороны, как определенная и во многом конструктивная попытка снять спровоцированные проектом Пококка противоречия и как весьма перспективное начинание современной англо-американской историо-

графии, связанное с идеей реализовать заложенные в нем позитивные концепты. Среди ученых, ассоциирующих свои позиции с новой британской историей, можно выделить три основных направления, каждое из которых признает в качестве конструктивной задачу создания единой истории британского мира без каких бы то ни было культурно-языковых ограничений, но при этом по-разному видит цели и возможные ракурсы воплощения такого грандиозного проекта.

Историки, позиция которых близка к так называемому *холистическому подходу* (Дж. Моррилл и его последователи), видят задачу новой британской истории в создании монументальной панорамы становления британского составного государства, в ходе строительства которого взаимодействие его основных композитов (валлийского, английского, шотландского и ирландского) демонстрировало не только многообразие составлявших его исходную базу политических и этнокультурных моделей, но и тенденцию к преодолению политического сепаратизма и формированию единой британской идентичности.

Сторонники т. н. *редукционистского подхода* (последователи К. Расселла) отрицают наличие в британской истории постоянно объединяющего историю ее отдельных народов процесса, но при этом считают возможным говорить о наличии отдельных периодов, когда комплексное влияние различных этнокультурных факторов было максимальным или собственно «пан-британским» («эпизоды» единой британской истории 1603–1608, 1638–1651 и 1688–1690, 1707 гг.).

Наконец, выделяется группа исследователей (Г. Бриджес и его единомышленники), которые связывают перспективы новой британской истории с *компаративистским подходом*, предусматривающим наряду с выявлением общих, «британских» по своей сути, закономерностей, поиск этнокультурного своеобразия британских регионов.

Г. Д. Селянинова (Пермский ГПУ)

Российская интеллигенция: продукт национального нарратива или явление мировой истории?

Широко распространены представления о том, что понятие «интеллигенция» в середине XIX в. «стало самоназванием русских интеллектуалов». М. Л. Гаспаров считал, что «разнопорядковость» русских интеллигентов и западных интеллектуалов предопределена спецификой российской истории: «...Русской интеллигенции пришлось преодолеть столько местных особенностей, что она до сих пор не чувствует себя в западном интернационале». С. Броувер главное различие обнаруживает в том, что «...большую часть своих политических идей западный интеллектуал старается формулировать в рамках программы одной из политических партий», а «оппозиционность русской интеллигенции иная: она характеризуется принципиальной невозможностью

(или нежеланием) осознать свою позицию в терминах существующей социально-политической и идеологической системы».

В историографии сложилось несколько подходов (социологический, политологический и этический), на основании которых предлагается выделять интеллигенцию в особую группу в соответствии с приписываемыми или реально выполняемыми интеллигенцией в обществе функциональными задачами.

На основе *социологического* подхода интеллигенция рассматривается как общность, выполняющая определенные профессиональные задачи и возникающая как слой образованных людей, предназначением которого в условиях перехода от традиционного к современному обществу, является выполнение функций по обслуживанию усложнившегося промышленного производства, решение управленческих задач в различных сферах, социокультурная деятельность в области образования и здравоохранения, создание и сохранение культурных (духовных) ценностей, в т. ч. ценностей гражданского общества. В традиционном обществе не все из этих функций были востребованы, а те, что имели место, выполнялись попутно монашеством и дворянством.

Интеллигенция, таким образом, рассматривается прежде всего как социальный слой, занимающийся специфическим видом деятельности – созданием духовных ценностей, культурничеством, и обладающая необходимым в связи с этим высоким уровнем образования. Вследствие отсутствия в России развитого третьего сословия, и, следовательно, базы для формирования гражданского общества, интеллигенция берет на себя дополнительно к профессиональным, политические функции. Активное участие российской интеллигенции в политической жизни многими исследователями рассматривается как ее главная характеристика, или даже «родовая черта». При этом предполагается, что профессиональные функции интеллигенции являются второстепенными, а на первый план выпячивается оппозиционность.

Политологический подход к определению функций интеллигенции в российском обществе имеет под собой весьма аргументированное обоснование. Ситуация российской действительности была такова, что наиболее острыми, нерешенными долгое время оставались вопросы, связанные с политическим развитием общества и российская интеллигенция, как раз широко понимавшая свою культурническую миссию, направила свои основные усилия именно на решение наиболее большой проблемы. Оппозиционность российской интеллигенции стала константой российской политической жизни, поскольку самодержавие, инициировав социально-экономические реформы, в то же время сохраняло косность и неизменность политической системы.

Весьма распространенными являются представления о том, что интеллигенция призвана задавать обществу высокий уровень нравственных ориентиров. Выделение в качестве главной задачи интеллигенции воплощения в жизнь *этических* принципов уходит корнями в прошлое,

поскольку непосредственной задачей духовенства, чью учительную функцию интеллигенция унаследовала, был контроль за моральным состоянием общества. При секуляризации культуры вместо духовности (от обозначения сословия – «духовенство») к членам социума предъявляется требование интеллигентности (по аналогии). Таким образом, существующая потребность в формулировке нравственного императива для всего российского общества, привела к провозглашению интеллигентности как этического образца, не определенного в то же время какими бы то ни было границами, критериями, дефинициями, кроме требования соответствовать некоему идеалу с весьма размытыми характеристиками. В этом отличие от западных интеллектуалов, «которые, будучи рациональными и «обуржуазившимися», решали проблемы, более тесно связанные с повседневной практикой».

Эта специфика определила и психотип интеллигенции России, выразившийся в «моральной и психологической восприимчивости, способности сочувствовать страданиям народа, готовности пожертвовать собой во имя лучшего будущего». Именно характеризуя данный психотип, исследователи применяют термин «интеллигенция», чтобы показать отличия от другого психотипа – «западных интеллектуалов».

Интеллигенция России, откликнувшись на общественную потребность постановки этических проблем, создала ярчайший феномен «золотого века русской культуры», и сегодня являющийся непревзойденной вершиной в осмыслении внутренней жизни человеческой души.

Но, какими бы ни были различия, формирование интеллигенции следует рассматривать как общемировой процесс, возникший на почве культуры Просвещения и связанный с задачами модернизации. В. Страда справедливо утверждает, что «русская интеллигенция при всех ее особенностях, не что-то уникальное, а часть сложного исторического явления – европейской интеллигенции нового времени, а ее особенности вполне естественны, поскольку национальная интеллигенция всех стран имеет свою более или менее выраженную специфику».

Войцех Вжосек (Польша)

Историография как носитель национальной (националистической) идеи

В нижеследующем рассуждении мы будем искать ответ на вопрос, почему национальная идея, национальный взгляд на мир (его прошлое, настоящее и будущее) в такой большой степени определяет наше современное мышление, не только историческое.

Ответ мы можем найти в особенностях исторического мышления, которое в некоторой степени ответственно за эту ситуацию. Историография создает благодатную почву для упрочения национальных мировоззрений. И не только историография двух последних столетий.

Повторяемый веками дискурс – основанный со времен Геродота на поиске себя и различий между Нами и Другими, идея «Мы и Другие» – реализуется в позднее новое время в виде описаний судеб народов. Он заменяет и дополняет описания судеб этносов, государств, монархий, а также людей из плоти и крови. Все эти исторические объекты, трансцендентные и земные, были субъектами исторических описаний. Вместе с тем, что отмечает Аристотель, развивает Вико, анализирует Козеллек, эти объекты подвергаются спонтанной антропоморфизации, превращаются в человекоподобного действующего субъекта, который является понятийной сутью, определяющей историческое мышление и основную ось исторического нарратива. Когда народ становится главным героем историографических описаний, этот дискурс легитимирует, распространяет и закрепляет националистическую идею в общественном сознании.

Отдельные национальные историографии, как и народы, воспринимают Других и Себя стереотипно. Те из них, которые определяют историческое познание и мышление, мы назвали историографическими метафорами или стереотипами исторического мышления. В литературе они называются символическими парадигмами, архетипами и т. д.

Основные глубинные стереотипы исторического мышления – это идея происхождения и идея движения (развития, изменчивости). Без них сложно себе представить историческое мышление. Лишив историка привычки устанавливать происхождение явлений (событий) и упорядочивать их генетически, а также отбросив идею изменчивости, движения, сопотивления, мы лишим историю историчности.

Наряду с глубинными стереотипами функционируют стереотипы, остающиеся в сильной национальной (этнической) зависимости. Историография, такая, которую мы знаем по антично-западноевропейскому культурному кругу, продолжает оставаться на повлуду у европоцентризма и отдельных национальных этноцентризмов. Мы считаем, что решительное большинство предметных стереотипов является свидетельством именно этой культурной исторической зависимости истории. Этническая перспектива, а начиная с Нового времени – национальная, становится неизбывным свойством историографии.

Национальная историография по определению этноцентрична. И, что важно подчеркнуть, прежде всего, не из-за привязанности к национальным ценностям, а по принципиальным причинам: она занимается судьбой своего народа и именно он оказывается в центре мышления и исследования. Именно народ, государство или династия становятся главными героями драмы, именно им отводится главная роль в таком историческом нарративе. Национальная историография является своего рода «биографией» народа (или государства). Судьба этого субъекта

истории становится основным сюжетом, главной нитью повествования исторического нарратива. Национальная интрига, как в понимании Поля Вейна, так и в определении Поля Рикёра, определяет порядок событий и придает смысл явлениям с позиции доминирующего субъекта: народа, государства, этноса. Интрига повествования завязана вокруг главного лица драмы.

Национальная историография является фактически, чаще всего, автобиографией народа. Другие участники истории для нее лишь фон, контекст. Именно это и предопределяет на принципиальном уровне тот факт, что национальная история этноцентрична. В результате национальные историографии ведут многовековой диалог (спор, иногда конфликт) этноцентризмов. И его никоим образом на уровне историографического нарратива избежать не удастся.

Национальная историография, как правило, политическая, идя по пути стереотипов, схематизирует, придает участникам политической игры конкретный стереотипный, квалифицирующий и классифицирующий смысл. Эти приемы делают интригу ясной, смысл событий выразительным, выявляют намерения актеров драмы и место статистов в ней. Потому что мир истории антропоморфизирован. Явлению восприятия исторических объектов, таких как государство, этнос, нация, народ и т. п., по образу и подобию человека действующего и мыслящего, мы некоторое время назад дали наименование перспективы непосредственной антропоморфизации. Именно такая перспектива восприятия предопределяет глубинную зависимость классической истории от ценностей. Ими являются непосредственно связанные с личностно-человеческими ценностями так называемые Национальные Ценности. Поскольку народ антропоморфизирован, его ценности соответственно тоже очеловечены. Если бы этого не было, они бы не компоновались в сплоченный, однородный образ, не были бы понятны для сознания личности. Личностная перспектива, горизонт индивидуума является одновременно перспективой как восприятия, описания (например, летописец, историк), так и прочтения этого мира (читатель исторических работ, заказывающий летопись Королевства...).

Стереотипное восприятие таких исторических объектов, как государство, народ, церковь, институт, даже культурная, профессиональная или общественная группа, по образу человека действующего вводит в мир истории человеческие цели, ценности, мотивации и т.д. В результате исторические субъекты очеловечиваются, и мир истории является миром человеческим также, если не прежде всего, именно поэтому.

**«Объяснение» национальной истории
в условиях «исторического поворота»**

Для современного развития отечественной и зарубежной историографии особенно актуальна проблема объяснения, в т.ч. поиск объяснительных моделей исторического процесса, а также смены, ревизии, обновления концепций национальной истории, истории России.

Как на историческое объяснение влияет *исторический поворот*, поворот не только самой истории к собственному предмету – человеку, но и социальных наук к истории? Частью «исторического поворота» является т. н. «культурный поворот» в изучении истории человека и общества. Новый стиль культурной истории был рожден во многом благодаря экс-марксистам, или, по меньшей мере, ученым, которые находили те или иные аспекты марксизма привлекательными. Его приверженцы многое позаимствовали у антропологов, из литературной критики, из семиотики. Культурная история является культурным переводом с языка прошлого на язык настоящего, с концептов современников на концепты историков и их читателей. Разница между нынешней антропологической моделью культурной истории и ее предшественницами, классической и марксистской моделями, может проявляться в том, что, в ней отменен традиционный контраст между обществами с культурой и обществами без культуры. Подобно антропологам, новые культурные историки говорят о «культурах» во множественном числе. Не допуская, что все культуры равны во всех аспектах, они в то же время воздерживаются от оценочных суждений о преимуществах одной над другой – тех самых суждений, которые являются препятствием для понимания. Кроме того, культура была заново определена как совокупность «унаследованных артефактов, товаров, технических процессов, идей, привычек и ценностей» (по Малиновскому), или как «символическое измерение социального действия» (по Гирцу). Другими словами, значение этого слова было расширено, дабы включить в себя гораздо более широкий спектр деятельности – не только искусство, но и материальную культуру, не только письменное, но и устное, не только философию, но и ментальности рядовых людей. Центральное место в этом подходе занимает повседневная жизнь, или «повседневная культура», в особенности правила, определяющие повседневную жизнь – то, что П. Бурдьё называет «теорией практики», а Ю. М. Лотман – «поэтикой повседневного поведения».

«Исторический поворот» имеет, на наш взгляд, специфику проявления в отечественной историографии. В объяснительных моделях национальной истории наиболее резко и часто весьма непрозрачно «реализуется процесс «смены парадигм». Отметим два момента теоретико-

методологического характера, влияющих на трансформацию современных объяснительных моделей российской истории в условиях «исторического поворота». Это, во-первых, прочтение исторического развития России как культурно-исторического процесса и российского общества как «цивилизации». При этом концепт «цивилизация» используется для характеристики стадии социального развития, характеризующейся сложностью социальной структуры, высокой степенью развития технологической и административной инфраструктуры и высоким уровнем достижений в интеллектуальной и эстетической сфере, и как синоним «культуры» в антропологическом значении, т.е. вся совокупность материальных и духовных сторон жизни общества. Представляется важным уточнение толкования этого понятия, не забывая о том, что введение его в оборот (по Л. Февру) было вызвано конкретной исторической необходимостью в термине, «обозначавшем триумф и распространение разума не только в конституционной, политической и административной области, но также и в моральной и интеллектуальной сфере».

Значение термина «цивилизация» было связано с идеей всеобщего и неизбежного процесса морального и социального совершенствования человечества как ключевое положение идеи прогресса эпохи Просвещения. Известно, что «цивилизация» стала главным концептуальным элементом западной историографии XIX – начала XX вв. Однако со временем он стал все больше использоваться для обозначения социальных и интеллектуальных национальных традиций, сближаясь с понятием «культуры». Симптоматично, что идеи Просвещения актуализируются в современных моделях объяснения отечественной истории и в плане расширения (или даже смены) пространства объясняющих факторов и их иерархии, а во-вторых, в «обновлении» объяснительных теорий из запасников отечественной и мировой историографии. Наконец, глубинной непреходящей традицией отечественной историографии в плане объяснения российской истории является погружение национальной истории в контекст сравнения «Россия и Запад». Присутствуя (имплицитно или эксплицитно), это сравнение играет роль индикатора, на котором выстраивается концепция «особенностей исторического процесса в России» или же вписывание ее в общеисторический процесс.

Отмечая неопределенность методологического пространства, в котором происходят трансформации объяснения (концепции) национальной истории, представляется необходимым акцентировать внимание на вводимых авторами операциональных терминах и опорных концептах, через которые ведется объяснение исторического процесса. Так, например, важно раскрыть гносеологическую значимость концептов оценки российского общества как «незавершенной модернизации», «расколотой цивилизации», попытаться раскрыть концепты «русской народной ментальности», «имперского духа», структуры и механизма влияния природно-климатического фактора и его особой роли

для объяснения «исторических корней особенностей развития России», механизма его влияния как основы различий России и Запада, Запада и Восточной Европы, Восточной Европы и России, анализируя объяснения и интерпретации исторического развития России в контексте моделей научно-исторических исследований.

Как влияют отмеченные изменения на модели объяснения отечественной истории, можно ли говорить о преобладающих или утвердившихся «новых» теориях различного уровня, появлении новых моделей объяснения истории нашей страны, в целом, или ее отдельных этапов – это вопросы, на которые предстоит ответить автору доклада.

Г. В. Касьянов (Украина)

Национальный нарратив: канон и его соперники (постсоветское пространство, 1990–2000-е гг.)

Процесс включения истории в формирование национальной идентичности, выработку единой формы гражданского самосознания, масштабную индоктринацию лояльных граждан неизбежно предполагали реализацию т.н. «национального проекта» – как на уровне интеллектуальных, академических или общественных дискуссий, так и на уровне государственной политики (образовательной или политики памяти).

Этот проект предполагал «национализацию истории» – суверенизацию «собственной» истории от ранее считавшегося общим культурно-исторического пространства, что неизбежно провоцировало почти одновременный процесс самоидентификации уже в новой ситуации присутствия своей нации как *субъекта*, а не только объекта истории.

«Национализация истории» в большинстве бывших советских республик происходила по одинаковому сценарию, хотя и с разной динамикой и разными последствиями. Сценарий предполагал возвращение к интерпретационным схемам эпохи национализма, возрождение народнической мифологии и обращение к позитивистской риторике. Процесс «национализации» истории предполагал не только изменение представлений о «своем» прошлом на уровне публицистики и популярных идеологических форм с соответствующими изменениями в профессиональном историописании, но и трансляцию этих представлений в общество с утилитарно-идеологическими и политическими мотивами (их взаимодействие имело и обратную связь, когда новые идеологические формы начинали довлеть над их создателями и пропагандистами). Как правило, в его динамике присутствовало решительное отрицание «имперского прошлого», связываемого с Российской империей и Советским Союзом. Этот сценарий предполагал восстановление «исторической справедливости», заполнение «белых пятен», (вос)создание на-

ционального Пантеона и возвращение в научный обиход концепций классиков национальной историографии (если таковые имелись). Суверенизация национальных историй была важной предпосылкой и элементом идеологической и политической суверенизации.

Все эти обстоятельства следует учитывать, рассматривая основные черты интерпретационного и познавательного канона «национализированной» истории сложившегося в конце 1980-х – начале 1990-х и занявшего доминирующее положение в официальной историографии и в историческом образовании в новых национальных государствах. Этот канон неизбежно в основе своей должен быть *телеологическим*. История представлена как движение к определенной цели – созданию нации и государства. Цель (следствие) прямо или имплицитно отождествляется с причиной, в результате сама собой появляется идея природности, органичности нации и национального государства. Последние не могут не возникнуть, посему задача историка – обосновать не факт их присутствия в общей истории человечества, а правильно объяснить факт их отсутствия в определенные периоды этой истории. Соответственно, «родовой» чертой «национализированной» истории является детерминизм (в любых его ипостасях – от экономического до культурного).

Упомянутые свойства «национализированной» истории не имели бы функциональной полноты без *эссенциализма*. Нация в таком понимании существует как трансцендентная (реальная или потенциальная) общность. Задача историографии сводится к правильной идентификации сущности нации, выяснению или отысканию (подтверждению) ее свойств с помощью верно найденного понятийного инструментария и фактов. Это объясняет *необходимость* существования нации, существенные свойства которой идентифицированы в «исторической реальности». Возможно поэтому категории идеологических и политических практик в «национализированной» истории/историографии довольно легко получают статус научно-аналитических. В таком качестве они возвращаются в идеологический обиход и своей «научностью» легитимируют политический язык. Идеальным примером может служить категория «национальное возрождение», равно интенсивно используемая как в идеологическом, так и в научном языковых пространствах.

Телеология и эссенциализм наиболее выразительно осуществляются в *этноцентричности* канона. Главным субъектом истории является народ, который отождествляется с одним или группой генетически родственных этносов и субэтносов. Содержание «национализированной» истории — превращение этого народа (этносов) в нацию. В таком варианте неизбежно отождествление понятий «народ» и «нация».

С этим будет неразрывно связан еще один важный компонент канона – *культурная эксклюзивность*. Тут возможны варианты. Самый

примитивный, и в то же время наиболее легко усвояемый и технически достижимый – игнорирование присутствия других этносов и наций в общем пространстве и времени, отрицание наличия системы взаимных влияний и взаимодействий с Другим(и). Более «изысканный» вариант – признание факта присутствия Другого как фона собственной национальной эксклюзивности. Тут присутствуют разные оттенки – Другой может служить позитивным или нейтральным фоном, присутствовать как в границах «своей» территории, так и вне их. Разумеется, кто-то из числа Других обязательно будет играть роль врага, мешающего объективному ходу истории – нормальному развитию «своей» нации.

Все перечисленные базовые черты метода «национализированной» истории/историографии реализуются в таких профессионально обусловленных признаках канона как *линейность и абсолютизация* непрерывности в истории «этноса–народа–нации». Носителем этой непрерывности в случаях разрывов в истории государственности является народ (этнос). Когда не хватает этнографического или исторического материала, наблюдается радикальный вариант «изобретения традиции».

«Родимым пятном» канона национализированной истории является его риторика, перенасыщенная антропоморфизмами и анахронизмами. Историческая нация «страдает», «борется», «изнемогает», «мечтает»... В языковом пространстве стандартного национального нарратива нация и ее атрибуты существуют до эпохи национализма, здесь уже в Киевской Руси можно обнаружить украинцев и русских, а Войско Запорожское превращается в парламентско-президентскую республику.

Основную массу историков и пропагандистов, являющихся сознательными или стихийными адептами национального нарратива, составляют те, кто интеллектуально сформировался в рамках ортодоксально-советского варианта марксистской методологии. В этом случае национальная телеология сменяет формационную, на место борьбы классов как движущей силы истории приходит борьба наций, культурный детерминизм сливается в экстазе с социальным, сверхзадача истории – освобождение человека – трансформируется в освобождение нации.

С середины 1990-х гг. наблюдаются все более интенсивные дискуссии, направленные на ревизию этого канона. Результатом стало появление альтернативных версий национальной истории, предлагающих мультикультурализм, и транснациональные истории. Эти явления относятся к разряду неисследованных инноваций (в рамках «национальных» историографий), и пока трудно судить об их возможностях и перспективах, хотя само их появление является обнадеживающим сигналом.

**«Национальное измерение» российской истории
в современной историографии и публицистике**

1. В среде российских историков, социологов и политологов активно обсуждается идея институционализации «россиеведения» как многосоставного теоретико-методологического и концептуального пространства формирования новых проблемных полей гуманитарно-социального знания. Однако при переводе этой идеи в «рабочее положение» обнаруживается, что ближайшие перспективы научной разработки «россиеведения» в значительной степени определяются принципами геополитики («россиецентризм») и государственно-политической прагматикой. Важный фактор, укрепляющий такую тенденцию, – системообразующая роль, которую играет в концептуальном оформлении «россиеведения» концепция «национально-государственной истории» России. Эта концепция, контуры которой обозначились на рубеже 1990–2000-х гг., в настоящее время все увереннее обретает черты идейной «государственно-народной» конвенции, закрепляясь в государственной политике, общественных науках, установках массового исторического и социального сознания и в образовании.

2. Контекст «национального измерения» истории России образуют государственные запросы и социальные ожидания в связи с содержанием тех перемен, которые происходят в российском обществе в постсоветский период. Запросы государственной власти к исторической науке и образованию диктуются стремлением обосновать преемственность Российской Федерации с многовековой историей российского государства, подтвердить настоящее посредством инструментализации прошлого. Они концентрируются вокруг идеи об *особом месте* России в мировой истории и современном мире. Концепция *самобытного Пути России* призвана закрепить такие установки в общественном сознании.

С начала 2000-х гг. свод официальных идейных установок пополнился понятием *позитивной национальной идентичности*, которое используется властью как мощный фактор политического управления, для консолидации общества, обеспечения социально-политической стабильности. Потребность в развитии идей *государственно-народного единения* и *политической любви к Отечеству* соединяется с официальными требованиями формирования «реальной картины исторического прошлого» в общественном сознании. Перед исторической наукой и системой образования государство ставит задачи формирования нового (по отношению к бытовавшему в СССР) нормативного *нашего прошлого*, конвенциональной «национально-государственной истории» как общего пространства коллективной памяти. Эти установки составляют основу дискурсивных практик федеральной власти, которые проециру-

ются в социальную жизнь, публичную сферу, образование, культуру, науку. Они находят по преимуществу позитивный отклик в российском обществе и, в том числе, в социально-гуманитарных профессиональных сообществах. Немногочисленные критические оценки таких официальных запросов и установок, как правило, не встречают поддержки в публичной сфере. Ядро создаваемой *позитивной национальной идентичности* составляет концепция непрерывного исторического развития *русской (российской) цивилизации и русской нации*.

3. Концепция исторического развития *русской (российской) цивилизации и русской нации* параллельно разрабатывается в российской историографии и в публицистике. Несмотря на разность жанров и профессиональных правил, в историографии и публицистике часто используются общие объяснительные схемы прошлого, базовые концепты и сходные принципы создания исторического нарратива.

Трудности качественного преобразования содержания исторического знания в России вместе с неуспехом быстрого демократического реформирования государства и общества содействовали усилению национально-охранительной тенденции в историографии. Призывы государственной власти к поиску *Русской национальной идеи* и построению конвенциональной *национально-государственной истории* стали рассматриваться частью профессионального сообщества историков как реальный путь к преодолению мировоззренческих и понятийных трудностей. В осуществлении такого проекта виделась также возможность ограничения влияния либерально-демократических версий теории модернизации и противостояния опытам создания альтернативных «региональных» и «этнокультурных» историй.

4. Общность познавательных подходов, дискурсивных приемов и нарративных практик, применяемых историками и публицистами при конструировании конвенциональной концепции «национально-государственной истории», прослеживается по нескольким базовым позициям. Модель непрерывной «национально-государственной истории» России создается строго из точки *актуального настоящего*, то есть, с позиций возвышения текущего периода политической российской истории. Современные построения российской национально-государственной истории в основном опираются на конструкции новой русской историософии, которая выглядит слепком историософских построений рубежа XIX–XX вв., но, по сути, является феноменом постсоветского времени. Новая историософия культивирует привычные коллективные представления о величии России в мировой истории, призванные подтверждать высокий уровень надежд на возможность извлечения из исторического прошлого России «правильных уроков» для настоящего. Историография и публицистика используют лейтмотив историософских произведений – основополагающую идею о взаимообусловленности исторического прошлого, настоящего и будущего

России в пространстве мировой (всеобщей) истории. Россия в новой историософии – это нечто большее, чем государство, держава, империя. Это – *особая цивилизация*. Понятие *Российская (Русская) цивилизация* обычно трактуется эссенциалистски, наделяясь четкими сущностными признаками. Изображение авторами свойств *Российской цивилизации* производится преимущественно в художественно-эссеистической манере с использованием антропоморфных, органицистских метафор.

В обобщающих «историко-цивилизационных» текстах эта концепция выражена в предельно схематичной форме как совокупность вневременных констант, знаков-мест коллективной памяти. В конкретно-исторической литературе историософские константы служат своеобразными «навигационными инструментами», с помощью которых события отбираются и вписываются в общий контекст детерминированной телеологической российской истории.

П. С. Шаблей (Республика Казахстан)

Ценность прошлого и мифотворчество: историографический дискурс на постсоветском пространстве

Ценность истории это не просто бережное отношение к изучению прошлого, но и понимание тенденций развития настоящего и проектов будущего. Между тем диапазон современных исследований настолько широк, что уже сложнее становится отличить статические (усвоенные опытом) восприятия истории от интериоризованных предвкушений прошлого. Последние перенаправляют интерес субъективный смысл в специализированную плоскость, которая задает понятиям многозначительные интерпретации. Так создается определенная «мифологическая тональность» изучаемого предмета.

В результате распада СССР произошел отказ от универсальности ценностей и всеобщности принципов развития в истории. Было подвергнуто сомнению групповое единство культуры, общества и государства в Советском Союзе. Аксиологический вектор новой автономной историографии на постсоветском пространстве стал определяться собственным выбором гуманистических идей прошлого: во-первых, сложилось представление, что абсолютная система ценностей складывается из отдельных ценностей общества, история развития которых может быть представлена обособленно; во-вторых, будто каждая отдельная ценность (например, история тюрок М. Аджиева) значима для всего человечества и поэтому может и должна быть прослежена в своем развитии, начиная с доисторической эпохи и вплоть до современных предпосылок национальных и политических конфликтов, и, наконец, в-третьих, складывается представление будто каждое общее развитие обладает законом последовательности своих ступеней, из которого мо-

жет быть выведена значимая для нас сегодня тенденция развития настоящего и тем самым достигнуто управление ею.

Пестрота постсоветских национальных историографий обозначила не только тенденцию возврата самобытности, традиций, но и попытки исторического самообольщения, конструирования новых форм идентичностей, наносящих беспощадный удар по «унизительным» фактам прошлого. С учетом новых геополитических реалий новые историографии ведут ожесточенную схватку за «отмывание» своего исторического прошлого. Происходит разрыв коммуникативных полей исторической памяти на множество конкурирующих тенденций, желающих присвоить себе частицы когда-то единого целого. Страницы истории дышат, таким образом, не только идеей реванша, выражающейся в попытке нанести болезненный удар по исторической памяти (снос памятников, переименование улиц, городов, введение новых памятных дат), но и отвечают актуальным (гео)политическим задачам. Здесь и рассмотрение голодомора 1930-х гг. как факта геноцида Советского государства по отношению к национальным республикам, и территориальное присвоение некогда единого цивилизационного региона. Например, в 1990-е гг. в Таджикистане была сформулирована концепция «Исторического Таджикистана», согласно которой в прежние времена он включал в себя всю современную территорию Узбекистана, значительную часть территорий Кыргызстана и Туркменистана, часть территории Казахстана, Китая и Ирака.

Ресурсом многих квазиисторических осмыслений является мифологизация исторического процесса. Она направлена на идеализацию прошлого, истории своего этноса. «Миф не признает разночтений и отвергает вероятность нескольких равнозначных гипотез, он основан на стереотипизации окружающей прошлой или нынешней действительности. Следовательно, миф сознательно упрощает действительность и прибегает к неправомерным (с научной точки зрения) обобщениям на основе единичных и зачастую весьма неоднозначных фактов. Он полностью базируется на редуционистском подходе в силу своей инструментальной роли» [Реальность этнических мифов / Под ред. А. Малашенко, М. Б. Олкотт. М., 2000. С. 14]. Мифологизация научного знания, как следствие группового сознания, выражается в рамках определенных проекций: этноцентризм, конфессиональный, региональный, сословно-классовый эгоизм, патриархально-генеалогический нарциссизм. С этих позиций производится позитивная критика национальных преувеличений исторического прошлого Казахстана [Масанов Н., Абылхожин Ж., Ерофеева И. Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана. Алматы, 2007. С. 7].

Мифологизация истории тесно взаимосвязана с синдромом национальной уязвленности. К нему относятся: «всемерное отстаивание исконности, глубочайшей древности своего народа; поиски «знатных

предков», происхождение от которых могло бы возвеличить уязвленный народ в собственных глазах и в глазах соседей» [Реальность этнических мифов. С. 35]; более широкое пространственное представление земли своих предков. Впрочем, не всегда мифологизация ориентирована на выполнение политических и культуртрегерских задач. Сложность исторического развития многих народов, входивших в состав сначала Российской империи, а затем и СССР, приводит к пересмотру некоторых историко-политических условностей. Требуется позитивная самоидентификация этноса, «припоминание себя», «восстановление в памяти». Чем сильнее произошло рассеивание историко-культурной преемственности, тем значительнее его мифологическая реконструкция. Поэтому, подчеркивает Р. Шукуров, историография России не может быть однозначно соотнесена с принципами развития историографий других постсоветских государств. Изучение прошлого Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и др. погружено, преимущественно, в стадильное «состояние Нарцисса»: историография поглощена изучением Самого Себя, что мешает поместить себя в контекст исторического мироздания. Ситуация в России отличается присутствием самоценного интереса к внешнему миру, к историям иных народов [Шукуров Р. Таджикистан: муки воспоминания // Национальные истории в советском и постсоветских государствах. М., 1999. С. 247-248].

По существу, творения современных национальных историй взаимно дополняют друг друга. Это придает определенное жизненное единство и целостность исторической науке, а самому исследованию добавляет не только долю объективности, но и идею гуманности, рассматривающую противоположности как множество различных возможностей и содержаний.

И. А. Новиков (Челябинский ГПУ)

Историческое мифотворчество национальных историй (что пишут на страницах учебников постсоветских государств)

Минуло уже полтора десятилетия, как Советский Союз перестал существовать и образовались независимые государства, отношения между которыми развиваются по разному: от «холодной» войны до дружеских объятий. Постсоветским государствам еще предстоит преодолеть односторонне негативный образ друг друга. Национальные историографии сосредоточены на теме оппозиции имперской власти (кириллица воспринимается как символ русского национализма и русификации, а потому от нее любыми способами пытаются отказаться).

В последние годы утверждается, что главные надежды будут связаны с региональным подходом, который позволяет изучать характер Российской империи и Советского Союза на различных пространствах.

Однако региональный подход до сих пор остается настолько неопределенным в своих методологических основаниях, что о наличии такого направления можно говорить лишь условно. Понятие «регион» крайне неопределенно. По сути дела, на звание региона претендуют любые территории, принципы вычленения которых многообразны и зависят как от самих историков, так и – в большинстве случаев – от региональных политиков. В подавляющем большинстве исследований способ воображения региона, причины и критерии выделения того или иного пространства не объясняются сколько-нибудь четко и подробно. За этим скрывается убеждение историков, что выбранные ими границы региона «естественны», а не являются плодом их собственного или заимствованного у политиков пространственного воображения. Чаще всего границы пространства определяются политиками, а историки подгоняют свою национальную историю к заданным сверху границам.

Процессы урбанизации, индустриализации и распространение грамотности в XX в. привели к возникновению в бывших советских республиках новых элитных групп, которые в конце 1980-х гг. пришли к власти под лозунгами демократии и национализма. При сравнении с опытом возникших государств политика центра выглядит сегодня совсем не так мрачно, как это рисуется в национальных историях.

В новых национальных формированиях (как ставших ими, так и нет) один из способов обоснования своей значимости в мировом сообществе, демонстрации лояльности перед странами Запада (а иногда и Россией), значимости или ненужности русскоязычного населения – выпуск национальных историй на русском языке, которые имеют задачу легитимации того или иного государства, образовавшегося на развалинах Советского Союза. Национальные историографии тех народов, которые когда-то входили в Советский Союз (или еще входят в Россию), концентрируются на собственной нации и сравнительно недавно обретенном государстве, проецируя их в прошлое. Для них «империя» (российская или советская) – лишь тягостный контекст, в котором «просыпалась», зрела, боролась за независимость та или иная нация. На веру принималось и принимается стремление властей сделать жизнь своих нерусских подданных как можно более несносной.

Протекание исторических процессов в постсоветских государствах выступает в виде рассуждений, как история «оправдывает» возможное расширение национальной территории за счет соседей. В современной российской историографии это тоже присутствует в форме исчезновения из учебников истории тех территорий, которые сегодня не входят в Российскую Федерацию. Тенденция к исключению Царства Польского и Княжества Финляндского из сферы интересов историков наметилась уже давно, то же самое происходит сегодня в отношении Средней Азии, Закавказья, Прибалтики. С другой стороны «школьные учебники» нам мало что говорят о протекании исторических процессов

на территориях Российской Федерации до их вхождения (завоевания) в состав Российской империи (Советского Союза).

После образования независимых государств в Средней Азии, трактовки основных событий ее новейшей истории, подверглись решительному пересмотру. В большинстве случаев дореволюционная и советская интерпретация исследуемых событий была объявлена «фальсификаторской», искажающей историю «национально-освободительной борьбы». Теперь, например, в Узбекистане отказались от термина «басмачество», а обозначают события 1920-30-х гг. узбекским термином «*истиклолчилик харакати*», который якобы отражает «истинную сущность» событий. Басмачество стало рассматриваться как «национально-освободительное», «общенародное движение», возникшее в результате смены на территории Туркестана «русского колониализма» «советским». В этой борьбе по одну сторону – туркестанцы, по другую – «русские большевики», а также отдельные представители местного населения, кого «большевики смогли обманым путем перетянуть на свою сторону». Чаще всего басмачество рассматривается как борьба за создание «независимого Туркестанского государства» или «как движение за освобождение узбекского народа». Основные лидеры басмаческого движения признаются «историческими личностями, которые боролись за сохранение национальных и общечеловеческих ценностей» [Туркестан в начале XX века: к истории национальной независимости. Ташкент, 2000]. Таким образом, политико-идеологические тенденции превалируют над чисто научными.

Ничем не отличаются и учебники истории других независимых государств, в т. ч. Казахстана, Молдовы и Украины [Василе Стати. История Молдовы. Кишинев, 2003; История Казахстана. Костанай, 2006; Воронянский А. В. История Украины. Учебное пособие для поступающих в вузы. Харьков, 2003]. Вряд ли способствуют взаимопониманию страницы учебников национальных историй, в которых включение Крымского полуострова в состав Украины объясняется попыткой переложить на ее плечи часть моральной ответственности за выселение с полуострова крымско-татарского населения или, что СССР не нужен был казахский народ со своей землей и скотом, а сюда хотели переселить другие народы и разбить там лагеря.

Каждый национальный учебник «уникален» и «неповторим». В примитивной версии национальных историй обычно присутствует русификаторское, деспотическое государство и героически сопротивляющееся местное население. По сути дела, это новая версия большого для историков вопроса о соотношении их исследований с мифотворчеством, бурный расцвет которого приобретает благодатную почву именно в эпохи общественных потрясений.

Украинский метанарратив. К генеалогии образов и практик

В современной литературе понятие «гранд-нарратив» встречается в различных вариантах: метанарратив, *master narrative*, «большая история», «теоретическая история», и означает идеологию Модернизма, способ легитимации знания, создания нормативов мышления и стандартов историописания. Основными чертами гранд-нарратива, проекта Просвещения, были универсализм, идея Развития (представленная в метафорах эволюции, стадийного роста, прогресса, а также их производных: «отсталость», «неисторичность» «национальное возрождение»), евроцентризм, сублимация которого осуществлялась в теориях о цивилизационной роли Европы/России/США. Классический метанарратив эпохи Модерна создал образ линейной истории, для которого характерны линейно-хронологическое повествование, процессуальность, причинно-следственная связь событий, завершенность, закрытость, теллогичность (создание государства, формирование нации или победа революции, как цель истории). В интеллектуальном пространстве Модерна конструировались национально-государственные схемы, которые абсолютизировали исторический опыт Западной Европы, формационная теория, цивилизационные проекты О. Шпенглера и А. Тойнби, концепции модернизации, волновая теория Э. Тоффлера и др.

В украинской культурно-интеллектуальной традиции существовало несколько «больших теорий», концепций национальной истории. Наиболее уважаемой и практически первой украинской версией гранд-нарратива Модерна стала схема М. Грушевского, которая декларировала идею преемственности всех этапов украинской истории (Давняя Русь; литовско-польский; казацкий периоды; эпоха культурно-национального возрождения), имплицитно подчиняя ее сакральной цели создания независимой державы). На нестандартность схемы М. Грушевского обратил внимание диаспорный историк И. Лысяк-Рудницкий, считая, что литовско-польский и казацкий периоды, не имея исторических аналогов, делали украинскую историю провинциальной, «ущербной» в рамках европейского гранд-нарратива. Формационная модель истории Украины, как и схема М. Грушевского, несмотря на различие в идеологии, терминологии и наполнении, полностью вписывалась в гранд-нарратив Модерна.

Констатация Ж.-Ф. Лиотаром в 1979 г. заката европейского гранд-нарратива совпала с формированием идеологии мультикультурализма. Вызовы Постмодерна ощутила и украинская историография, в пространстве которой ныне конкурирует несколько идей-проектов. К примеру, созданный Я. Дашкевичем с позиций исторического релятивизма, образ истории Украины представляет чередование периодов государст-

венности и безгосударственности. Я. Грицак конструирует модель национального нарратива на основе теории модернизации, начиная историю Украины с открытия Америки как ключевого события европейской и украинской истории, а модернизацию за пределами Западной Европы квалифицируя как вестернизацию, т.е. «копирование западных образцов с надеждой на успех и богатство». Украина, «дочка Европы», в его интерпретациях является «продуктом вестернизации».

В контексте современных вызовов происходит возврат к гранд-нарративу, разумеется, в новом качестве. Метанарратив интегрирует историческую, психологическую и культурную перспективы; усиливает роль саморефлексии нарратора; учитывает контекстность, жизненный опыт; и наконец, актуализирует факт возвращения к «герменевтическому кругу». Если говорить о перспективах украинского метанарратива, то его, очевидно, необходимо связывать (в рамках постнеклассической науки) с нелинейным образом истории. Основными характеристиками такого образа являются полипредметность, идея целостности через разнообразие (из всех реальностей самая реальная – это повседневность, именно в структурах повседневности стоит искать проявление нелинейности). Образ нелинейной истории предполагает отказ от мрачной и скучной серьезности исторического письма, а также незавершенность, признание принципа нелинейных исторических динамик (наличие эволюционной и бифуркационной стадий в существовании социума). Метафора «ветвящейся истории», заимствованная из литературной критики творчества М. Алданова, на наш взгляд, удачно раскрывает смысл образа нелинейной истории.

На нелинейность украинской истории обратил внимание М. фон Хаген в ходе дискуссии на страницах *Slavic Review* (Fall, 1995). Такие черты, как полиэтничность, дискретность государственных форм, разрывы в истории элит, разнообразие идентичностей, аморфность культурных границ, из недостатков превращаются в сильные стороны украинской истории, делая ее лабораторией новых методов исследования. Один из вариантов создания образа нелинейной истории Украины – структурно-синергетическая модель. Согласно этой модели, прошлое Украины можно представить как совокупность этносоциокультурных миров/пространств/обществ, в рамках которых каждая из составляющих этих миров (политическая, социальная, экономическая, культурная, государственная и пр.) имеет свою конфигурацию и темпоральность. Такие этносоциокультурные образования/миры следует воспринимать как самоорганизующиеся системы (синергетическая метафора), которые возникают, совершенствуются и сменяют одна другую не в результате внешних детерминант, а вследствие саморегуляции и самонормирования. Механизмом самоорганизации выступает естественная среда обитания, а процессы самоорганизации имеют необратимый характер. Структурно-синергетическая модель украинской исто-

рии имеет такой вид: 1. Цивилизационный треугольник: Юг–Север–Центр: пути освоения восточнославянского пространства; 2. Возникновение украинского сообщества: конструирование границ и идентичностей (XIV–XVI вв.); 3. Восточноевропейское социокультурное пространство: структура и динамика (XVII–XIX вв.); 4. Западноукраинский культурный мир. Эволюция и разрывы (XVIII–XX вв.); 5. Украинское общество XX века как самоорганизующаяся система. Разумеется, речь идет об одной из гипотез, моделей национального гранд-нарратива и служит приглашением к дискуссии и поиску новых исследовательских стратегий.

М. А. Соколова (Республика Беларусь)

**«Связанные истории» и национальные нарративы:
пример белорусской и украинской историографий**

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. увлеченные процессами «национальной мобилизации» историки бывших советских республик активно занялись конструированием национальных историй. Ключевыми характеристиками историографий (в т. ч. белорусской и украинской) стали трактовка нации как единого тела (организма) и как единственно возможных естественных рамок любого исторического исследования, сочетающиеся с «неосознанным примордиализмом» (А. Миллер). Историография представала как «территориализированное линейное время» [Потульницький В. Українська та світова історична наука // Український історичний журнал. 2000. № 3. С. 4] и основывалась на принципах «методологического национализма» [Chernilo D. Social Theory's Methodological Nationalism // European Journal of Social Theory. 2006. N 1. P. 5-22], поскольку в качестве отправной точки исследований рассматривалась определенная национальная/этническая общность, претендующая на доминирующую позицию в рамках той или иной территории (чаще всего – в границах бывших советских республик).

Исследования последнего десятилетия, которое можно назвать периодом «нормализации» исторической науки в Беларуси и Украине, продемонстрировали логические и методологические противоречия такого подхода, которые проявились, прежде всего, в провале попыток создания партикуляристских нарративов в форме истории белорусской или украинской наций «с древнейших времен до наших дней».

В контексте «связанных историй» актуальными стали вопросы, сформулированные прежде в мировой историографии: можно ли писать историю одной страны, существует ли «Украина», что такое «Беларусь», что такое «национальная историография» и т. п. Историки осознали недостаточность «взгляда изнутри» и важность роли «Другого» в конструировании национального «мы». Структурно-функциональный

анализ имперских систем, философия идентичности и антропология перехода стали основой коллективных и индивидуальных попыток теоретически обоснованно представить специфику и общность национальных историй. В результате стало очевидно, что нет ничего более интернационального, чем формирование национальной идентичности. А это означает, что исследовательский фокус с необходимостью смещается с уникальности национальной истории на взаимодействие национализмов и параллельных процессов интернационализации, выхода за рамки как национальных, так и имперских нарративов. Ряд исследователей полагает, что осуществление данной процедуры возможно в результате освоения и сочетания трех взаимосвязанных подходов: сравнительного метода, истории трансфера (взаимодействий, влияний) и транснациональной или новой глобальной истории.

Хотя историческое сравнение, необходимость которого еще в начале XX века обосновывали М. Блок, О. Хинце и А. Пиренн, неоднократно подвергалось атакам со стороны микроистории, культурной истории и др. «новейших подходов», сравнительная история продолжает оставаться одной из влиятельных историографических традиций в рамках социальной, политической и интеллектуальной истории. Более того, сравнительная история в последнее время стала рассматриваться как один из необходимых элементов истории империи [Герасимов И., Глебов С., Каплуновский А., Могильнер М., Семенов А. Мнимая очевидность и очевидная неизбежность сравнения: сравнительное знание в имперской ситуации // *Ab Imperio*. 2007. № 2. С. 9-10].

Сравнительные процедуры стали основой транснациональной истории с ее вниманием к процессам метисизации и гибридизации. Учет этих тенденций позволил некоторым историкам отчасти расширить как контекст, так и терминологическую базу исследований процессов формирования белорусской и украинской национальной идентичностей.

История культурных трансферов, взаимоотношений и миграций, развивающаяся в рамках истории культурных практик, языка, образования не только служит необходимым дополнением сравнительно-исторического и транснационального подходов, но и выявляет связь и взаимодействие историографических традиций на уровне отдельных авторов и работ, исторических школ и академических учреждений.

Указанные подходы остаются пока маргинальными практиками, как в белорусской, так и в украинской историографиях. Тем не менее, стремление ученых осмыслить причины исторически специфических результатов ряда общих процессов, имевших место на территориях современных Беларуси и Украины, приводит их к отказу от «методологического национализма» в пользу контролируемого сравнения не только в рамках истории влияний, но и с точки зрения транснациональной истории, которая рассматривает нацию (национальное государство) как элемент в ряду других социальных феноменов, а не как единственно возможную конституирующую границу исторического нарратива.

**«Национальные историографии»:
понятие и явление интеллектуальной истории**

Историческая наука, несмотря на специфику гносеологических и чисто прикладных методов познания, является продуктом общественно-интеллектуального развития и всегда зависела, и будет зависеть от политико-идеологических институтов власти, отстаивая идеи, концепции, теории, которые удовлетворяют правящую элиту. Распад СССР привел к краху марксистско-ленинской методологии, но положил начало процессу «интеллектуального раскрепощения» обществоведов. Освобождение от вериг единомыслия имело место практически одновременно во всех бывших республиках Союза, однако становление новой интеллектуальной истории оказалось процессом достаточно противоречивым. Единая советская историческая наука перестала существовать, но формирование самостоятельных познавательных систем гуманитарной сферы началось с отрицания ее теоретического наследия. Анализируя историографическую ситуацию, некоторые современные российские исследователи указывали, что советская историческая наука перестала быть наукой, так и не став ею (Н. В. Иллерицкая). В то же время проявила себя небезопасная для современной науки тенденция – политизация и переоценивание прошлого под углом зрения теории тоталитаризма (А. Н. Сахаров).

Для постсоветской интеллектуальной истории 1990-х гг. характерно не только категорическое отрицание достижений предшественников, но и отход от всей теоретико-методологической базы исторической науки. Плюрализм мнений породил многочисленные версии прошлого. В историографии того периода было больше вопросов, чем ответов. Воинственный нигилизм, присущий многим публикациям, был обусловлен пафосом перестройки и впоследствии центроостремительным дрейфом научных элит. В начале XXI в. продолжаются дискуссии о кризисе исторической науки, хотя говорят и о новом состоянии интеллектуальной истории с ее методологическим плюрализмом и принципиальной толерантностью относительно конкурирующих парадигм (Л. П. Репина). Исследователи современных теоретических основ наук социально-гуманитарного цикла считают основной причиной кризисных явлений отсутствие общепризнанной концепции, системы знаний, единого научного стандарта исторических исследований. Обновление научного знания не поспевает за вызовами современной эпохи.

Историки Украины и России начали изучать собственные истории, отвергнув парадигму единого исторического процесса, сконцен-

трировавшись на проблемах социально-политического и национального развития. Сначала они не выделяли становления «национальных историографий», хотя де-факто процесс начался. В Украине об этом заговорили в 1993 г. (М. Ковальский). Была подчеркнута нетождественность понятий «украинская историография» и «историография истории Украины». Национальный стиль стал проявляться не столько в языковой или территориально-административной специфике, сколько в особенностях толкования «своего» и «чужого» в истории. Сейчас ученые подчеркивают чрезмерное увлечение исследователей героическими страницами прошлого, завышение уровня политического и общественного развития этносов, самоутверждение за счет соседа (Г. А. Бордюгов).

История в смысле историописания, по сути процесс создания образа. А образ до крайности субъективен. В то время как многие российские историки выдавливают из себя «комплекс вины», украинские коллеги пытаются преодолеть «комплекс Эдипа». Вместе с тем в Украине уже совершился переход к классической национальной истории с соответствующей атрибутикой: гипертрофированной линейностью, телеологией, этнической эксклюзивностью (Г. В. Касьянов). С другой стороны, этот же «национальный проект» не является лапидарной модификацией столетней давности, а отличается формированием нового стиля исторического мышления, диверсификацией дисциплин, разнообразием методологий, научным прагматизмом (И. И. Колесник).

Формирование «национальных историй» является совершенно логичным и закономерным фактом, обусловленным не развалом СССР, а самобытностью исторического развития наций и этносов, которые долгое время пребывали в составе одного государства. Термины «национальная история», «национальная историография», «национализация истории» свидетельствуют о формировании национальной исторической науки, ее суверенизации, т. е. определении собственных проблемно-тематических приоритетов, институциональных основ, концептуальных подходов, беря во внимание современные теоретические достижения зарубежной политологии, социологии, истории, философии.

Нейтральными остаются определения «российская историография» и «украинская историография», в которых скрыты традиции школ и национальная самоидентификация, что отвечает конкретному историческому периоду, переживаемому нашими странами. Но суверенизация историй не должна означать теоретико-методологической самоизоляции. Преодоление постсоветского манкурства логично приводит к образованию национальных научно-исторических институций.

**Европейские сравнительно-исторические исследования:
синтез традиций и новых интерпретаций**

Обращение российских ученых-гуманитариев на рубеже XX – XXI вв. к сравнительно-историческим исследованиям стран Европы было вызвано комплексом факторов.

Прежде всего, отметим существование нескольких крупных направлений (социально-экономического, политического, культурологического) и региональных школ (московской, ленинградской, поволжской, уральской и других), представители которых, руководствуясь главным образом позитивистской методологией в ее марксистской интерпретации, создавали на протяжении нескольких десятилетий солидный историографический фундамент изучения отдельных стран и целых регионов европейского субконтинента. Вторым важнейшим условием формирования нового исследовательского поля явилась кардинальная трансформация геополитического ландшафта Европы в последней четверти XX в., связанная с распадом СССР, Чехословакии, Югославии, а также обратным по своей направленности процессом консолидации Германии. Третья причина, вызвавшая к жизни сравнительно-исторические методы, – утверждение в гуманитарной сфере постмодернистской парадигмы, стремление многих специалистов учитывать достижения не только смежных дисциплин, но и точных наук, включая математику, физику, биологию.

В центре внимания ученых оказалась дискуссия между адептами универсальных принципов исторического развития и сторонниками уникальности национальных траекторий движения стран по пути цивилизационного прогресса. При этом использование сравнительно-исторических методов позволило создать концептуальные модели, описывающие параметры становления индустриального и постиндустриального общества в региональном и страновом аспектах. Эти разработки оказались востребованы государственными и общественными деятелями как в России, так и на всем постсоциалистическом пространстве Центральной и Восточной Европы, в государствах, прошедших на протяжении последних двух десятилетий стремительную смену векторов экономического, социально-политического и культурного развития.

Поскольку сравнительно-исторические исследования предполагают совокупность интерпретаций событийной ткани новейшего времени, которые контрастируют с неопозитивистской методологией, следует остановиться подробнее на их характеристике.

Прежде всего, отметим *междисциплинарность* современных подходов к истории европейских стран. В качестве сопутствующих и дополняющих дисциплин, сам генезис которых был обусловлен стремле-

нием обществоведов осмыслить реалии окружающего мира, можно назвать политологию, социологию, демографию и культурологию. Использование специалистами отдельных элементов методологического инструментария и категорий понятийного аппарата, созданного несколькими поколениями гуманитариев, начиная от М. Вебера, Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса, П. Сорокина и заканчивая Р. Ароном, Д. Беллом, С. Хантингтоном, О. Тоффлером и Ф. Фукуямой, существенно расширили рамки исторического дискурса в традиционном понимании, придав ему полифоничность и многомерность. Именно междисциплинарность стимулирует исследователей отказаться от линейной интерпретации причинно-следственных связей, лежащих в основе событийной канвы. Ярким примером такого отказа служит теория цивилизационно-культурных ареалов, одним из авторов которой выступил А. Тойнби. Неслучайно на основе междисциплинарности в последнее время активно развиваются синкретические научные дисциплины: историческая политология, имагология, элитология и т.д.

Далее укажем на *комбинацию глобальных, региональных и локальных* парадигм европейских сравнительно-исторических исследований. Если раньше ученый мог фокусировать свое внимание лишь на конкретной, узкой проблеме прошлого страны, которую он выбрал в качестве объекта изучения, то сегодня глубокое, адекватное понимание процессов эволюции отдельных государств или их административных единиц (провинций, районов, городов) на протяжении XX века невозможно себе представить без их рассмотрения вне глобального или, по меньшей мере, регионального контекста. Образцом сочетания различных пространственных (*хорологических*) подходов является история Европейского Союза как наиболее успешного проекта интеграции стран и народов новейшего времени. Аналогичный синкретизм интерпретаций оправдан и в исследовании постсоветского пространства СНГ. И этими примерами сфера комбинации указанных пространственных толкований отнюдь не исчерпывается.

Важной проблемой оценки исторических фактов новейшего времени традиционно считается *хронологическое позиционирование* событий и процессов. И здесь исследователь сталкивается с феноменом т.н. «временного разрыва» или «асинхронности» этапов развития, которые проходят страны Европы. Указанная асинхронность, разумеется, не столь очевидна, как при сопоставлении, например, евро-атлантического и африканского цивилизационного ареалов. Однако было бы заблуждением не принимать ее во внимание при осмыслении процессов индустриальной, а вслед за ней и постиндустриальной модернизации, которая имела и имеет сейчас различную динамику, а также логику протекания в зависимости от конкретного региона или страны Старого Света. Учет «временного разрыва» в сравнительно-исторических исследованиях обуславливает формулирование концепции «догоняющего развития»,

«волн модернизации», «интерференции событий и процессов», сторонники которых преследуют цель объяснить те или иные реалии отдельно взятого европейского государства. Действительно, констатация специалистами существенных различий в стадийных уровнях, достигнутых, если обратиться к конкретике, Скандинавскими и Балканскими или западно- и восточноевропейскими странами на рубеже XX–XXI вв., позволяет не только объективно проанализировать текущую ситуацию, но и рекомендовать практическим политикам корректные пути разрешения накопившихся вопросов.

В заключение полагаем необходимым выделить еще одну методологическую особенность компаративного изучения новейшей истории стран Европы, а именно: *виртуализацию* самого исследовательского поиска. Хорошо известно, что виртуальность – это новое качественное состояние реальности, основанное на ментальном конструировании условных смысловых объектов. При всем стремлении адептов виртуализации уйти от воздействия материальности в мир абстракций, современный историк, на наш взгляд, вполне способен использовать виртуальное пространство потоков информации в виде знаков и образов для решения прикладных задач, особенно в контексте событий относительно недавнего прошлого, зафиксированных не только на бумаге, но и других носителях: фото- и киноплёнке, магнитной ленте, дисковых накопителях и т. д. Конечно, наиболее значимым компонентом виртуализации выступает Интернет, хотя специалист, помимо графических сайтов Всемирной паутины, содержащих источники и историографию, может, например, обратиться к стратегическим играм или программам компьютерного моделирования реальных процессов. Работа историка с визуальным рядом, сопровождаемым виртуальным гипертекстом, имеющим нелинейный, многомерный характер, открывает перед ученым новые, ранее трудно прогнозируемые горизонты исследований.

Аллан Мегилл (США)

Границы как историческая и теоретическая проблема

Идея национальной границы – изобретение Нового времени, принявшее свои очертания после 1648 г. и особенно после 1789 г. За исключением океанов и небес, официально признанная идеально-типическая граница национального государства есть четкая непрерывная линия, отделяющая одно суверенное государство от других. С этой идеей границы порой связывают и другое, распространенное в XIX в., представление о том, что каждое территориальное государство должно охватывать один народ, и что каждый народ должен обладать территориальным суверенитетом. В докладе я рассмотрю идею границы в качестве подготовки к более масштабному исследованию «проблемы границ» в целом. В течение долгого времени на большей части земного

шара границы распространялись на ограниченные участки территории. Известно, что Люсьен Февр, один из основателей «Школы Анналов», много писал о географическом аспекте истории, особенно в «Географическом введении в историю» (1925). Он также писал об идее границы (*Grenze, granitsa*), отмечая, что в XIII–XIV вв. граница (термин, изначально обозначавший первую линию войск в сражении) существовала только для солдат и государей, и лишь во время войны. Потребовалось много времени для того, чтобы граница в данном значении превратилась в четко очерченную линию на карте, отделявшую враждебные или потенциально враждебные национальные государства.

Большинство фиксированных границ, существовавших до Нового времени имели характер небольших огражденных территорий (*enclosures, enceintes*), имевших стратегическое значение, зачастую располагавшихся на высотах над реальными или потенциальными транспортными артериями. Многие европейские города возникли как поселения внутри или рядом с такими оградами, часто находившимися на более высоком берегу реки. (Русский корень «берег» [ср. *berge* во французском] сохраняет эти исторические реалии, поскольку он также имеет оттенок защиты и охраны). Стены европейского замка, *Schloss*, (от *geschlossen*, закрытый) – очевидный пример такой границы, даже если *Schloss* вовсе не поддерживал контроль над транспортным путем, а всего лишь защищал домен сеньора.

Существовали по крайней мере две другие формы границы, причем обе они – «протяженные границы», а не защитные сооружения замка или кремля. Один тип протяженной границы зачастую оставался неотмеченным географически. Это была граница между известным пространством, определяемым его обитателями как цивилизованное, с одной стороны, и пространством «на краю известного мира», которое те же обитатели рассматривали как нецивилизованное, хаотическое, как источник потенциальной угрозы. Здесь вспоминается о том, как Геродот в своей «Истории» описывал скифов; возможно, похожее отношение можно обнаружить у славян Древней Руси, сталкивавшихся с вторжениями с востока. Второй тип протяженной границы, фиксированной и формализованной в отличие от относительно неопределенной «границы-края», представляет собой имперская граница. Примером служит граница Римской империи. Здесь в основе лежало стремление определить пределы императорской власти в точных географических понятиях. Римляне попытались установить свои границы таким образом, чтобы они соотносились с географическими маркерами, а там, где таких маркеров (например, между берегами реки или между равниной и горами) не было, они возводили некие сооружения, обозначавшие границу, а именно, стену (позднее так же поступили китайцы).

Необходимо исследовать соотношение между нынешним типом границы национального государства и этими ранними формами грани-

цы. Граница национального государства сохраняет некоторые характеристики имперской границы, в особенности внимание к точному определению границ власти. Она также имеет и ряд черт средневековой *enceinte*, так как эта форма ограды ассоциировалась со стремлением контролировать торговлю и транспорт, тем самым позволяя собирать награбленное, а позднее – фиксированные налоги с проезжавших купцов. Наконец, не стоит забывать еще одну форму границы, о которой также размышляли представители «школы Анналов», а именно, географическую границу, не связанную с вопросами политической власти. Эта идея границы – мы можем обозначить ее как идею «региональных» границ – имеет значение для режима границ XXI века. Мы бы не захотели жить в броделианском мире отсутствующих суверенитетов, но легкость пересечения географических границ и относительная подвижность самих границ, тем не менее, заслуживает внимания.

В. Г. Рыженко (Омский ГУ)

**Историческая наука, регионоведение, культурология:
возможности кооперации вокруг проблемы «присвоения прошлого»**

Каждая из обозначенных в названии доклада областей научного знания пережила на рубеже XX–XXI вв. полосу кардинальных перемен. О близости интересов исторической науки и регионоведения свидетельствуют и забытые практические подходы (напр., методика экскурсионных исследовательских погружений И. М. Гревса). Недавний поворот к моделированию геокультурных образов территорий в контексте процессов пространственного взаимодействия различных культур, субкультур, этносов и цивилизаций соединил культурологию, историю и географию, обозначив в качестве нового исследовательского направления «гуманитарную географию» (Д. Н. Замятин). Отсюда появился еще один мощный фактор, стимулирующий продуктивную кооперацию.

Однако интрига сводится пока к борьбе за приоритет «материнской платы», из которой вырастает либо «историческая регионалистика», либо «региональная история», либо «историческое регионоведение». Некоторые из недавних трудов [напр.: Попов П. Л. Элементы теории регионов. Новосибирск, 2005] заявляются как поиск базовых положений, необходимых для теоретического осмысления региональной проблематики, но исходят из географических приоритетов. Подобные издания рекомендуются культурологам, философам, социологам, но игнорируют историков. Другая позиция состоит в том, что изучение региональных проблем должно происходить в рамках нового научного направления – исторической регионалистики [Алексеев В. В. Регионализм в России. Екатеринбург, 1999].

Рост внимания к «новой локальной истории», дискуссии российских историков (М. П. Мохначева, С. И. Маловичко, М. Ф. Румянцева, Т. А. Булыгина и др.) о ее статусе и соотношении с краеведением придали дополнительную остроту происходящему движению к эффективной междисциплинарной кооперации. Вместе с тем локальные и региональные аспекты проблемы «присвоения прошлого» в национально-государственной версии исторической памяти в настоящее время обрели особый смысл. Речь идет о выборе историка между участием в создании «осколочной», насыщенной новыми мифами истории (ответ на заказ Власти), и поиском исследовательской модели для реконструкции специфики закрепления в культурной памяти тех или иных фигур российской истории, в т. ч. их циклического востребования в регионах. Путь к конструированию такой модели можно извлечь из трудов Ф.-Б. Шенка, учитывая возможную кооперацию исторической науки, регионоведения и культурологии. Причем «фигуры памяти», требующие первостепенного внимания, могут быть обнаружены в арсенале «присвоенного местного прошлого» одновременно в разных регионах.

В интересах кооперации при решении вопросов о языке историка представляется уместным термин «регионоведение» как более близкий по своему значению к сути интересующих нас смыслов современных междисциплинарных исследований. Российская традиция использования окончания «ведать» изначально нацеливает на непрерывающийся процесс познания и стремление не только накопить «базу данных» об изучаемом объемном объекте, но договориться о руководстве принципом получения «избыточного знания». Регионалистика – свод знаний, статичный единовременный срез представлений о регионе. Регионализм, по мнению современных географов, в англоязычной традиции является частью географической науки и, хотя близок семантически к регионоведению, дистанцируется от природных регионов и больше связан с социологией науки.

Для понимания сущности и эффективности междисциплинарного изучения региона целесообразно опираться на понятия, входящие в состав «культурной географии». Ее содержание близко «цивилизационному подходу». Шесть основных звеньев в познавательной схеме «культурной географии» включают путь от «мировой цивилизации» к «отдельной цивилизации», затем к «национальному культурному пространству», от него к «геокультурному ядру государства», через него к «национальной субкультуре» и в завершение – к проникновению в «культуру отдельного города». Так пространство региональной культуры, дробясь на локальные «культурно-цивилизационные ландшафты», образует причудливый узор линий укоренения «фигур памяти» на всех уровнях исторического исследования.

Регионоведение–страноведение–краеведение. Соотношение этих областей научного познания окружающего мира связано с методами и

методиками «погружения в прошлое» и «воспитания наследием». Интерпретация понятия «регион» влияет на их содержание. Существующий «разброс» его трактовок выглядит так: административно-территориальная (политико-административная или юридическая); философская (особо важная для изучения истории культуры региона, так как в ней акцент переносится на менталитет, образ мышления, традиции, мироощущение обитателей того или иного региона, что сближает регионоведение с новейшими направлениями в исторической науке); историческая трактовка региона (способствует восстановлению утраченной со временем идентичности); геополитическое понимание региона (акцент переносится на соотношение центров «мощи» и «слабости» в пространственной дифференциации политических сил); экономический регион (обозначение территории с четко выраженной специализацией производства и хозяйственной целостностью).

В качестве одной из самых вдохновляющих современных теорий регионализма на историческом конгрессе в Осло (2000) была выделена теория финского географа А. Пааси. Она основывается на региональной «модели институционализации», проходящей в своем развитии четыре хронологические фазы. Ее комбинация с имеющимися в гуманитарной географии концепциями «образов» территорий, с подходами к реконструкции исторической памяти, включая использование способов закрепления «знаковых фигур» в региональном и локальном пространстве, станет вариантом междисциплинарной кооперации, в котором «материнская плата» будет представлять сплав теоретико-методологических оснований естественнонаучного (природно-географического) и социогуманитарного (историко-культурологического) знания. На такой основе возможна разработка «пилотного» проекта под условным названием «Трансформации исторической памяти в пространстве, образах и символах российских регионов».

А. Х. Боров (Кабардино-Балкарский ГУ)

Концептуальные основы обобщающих трудов по региональной истории (проблема синтеза в изучении Северного Кавказа)

В южнороссийской историографии в последние годы сложилась собственная традиция изучения теоретико-методологических проблем исторической науки. Опубликованные в ее русле работы свидетельствуют, что региональное научное сообщество активно осваивает и вполне квалифицированно оценивает познавательные возможности различных школ и направлений современной историко-теоретической мысли.

Но есть один аспект анализа условий эффективного участия «знания методологического» в формировании «знания предметного», который до сих пор не обсуждался в литературе. Речь идет о спецификации методологического инструментария применительно не только к объек-

ту и предмету познания, но и к характеру и особенностям – к «жанру» – той или иной исторической работы. В частности, отдельного рассмотрения требуют вопросы теоретико-методологического обоснования обобщающих исторических трудов. Они представляют тот случай, когда действительно необходимо предварительное определение концептуальных рамок и принципов интерпретации, организации и представления обширного исторического материала. Риторически заостряя эту мысль можно было бы ввести различие между двумя типами познавательного интереса к прошлому: «историческим познанием», с одной стороны, и «познанием истории», с другой. В первом случае подразумевается стремление к обретению первичного или нового знания о любом конкретном фрагменте прошлой социальной реальности, что возможно только на основе обращения к первоисточникам. Во втором случае, речь идет о потребности в систематизации, упорядочении и интерпретации совокупности уже накопленных исторических знаний о том или ином объекте познавательного интереса.

Без анализа «оснований» здесь не обойтись. Причем в данном случае он должен быть направлен преимущественно на *поиск путей и форм воплощения исторического синтеза*. Это сложная проблема, в т.ч. применительно к обобщающей истории Северного Кавказа. Ведь речь идет о необходимости дать единую интерпретацию тенденций развития, выражающих социокультурную целостность, самобытность субъектов регионального исторического процесса и их открытость воздействию многообразных все более интенсивных внешних влияний; проследить масштабность и разнообразие форм социально-культурной динамики в широчайших временных рамках и соотнести их с единым преемственным субъектом исторических трансформаций; отразить взаимосвязь и содержательную общность явлений и процессов, конституирующих Северный Кавказ в качестве исторической области, и их внутреннее многообразие, применительно к субрегиональным социально-историческим организмам. Причем в данном случае «целостная история» должна присутствовать не «на горизонте», как сверхзадача, а непосредственно в структуре и тексте обобщающего труда.

Здесь и возникает вопрос о зависимости форм исторического синтеза от целей и задач конкретной работы. В качестве предварительной гипотезы можно свести их многообразие к трем разновидностям: «объяснительному» (как правило, основанному на социологических теориях), «объектному» (нацеленному на схватывание непосредственной целостности исследуемой единицы исторического процесса в ее социо-структурном, социокультурном или антропологическом измерении) и «субъектному» (прослеживающему историческую жизнь, *становление* некоего «действующего» исторического субъекта – народа, класса, го-

сударства, регионального или локального сообщества и т.д.). Именно этот третий вариант синтеза реализуется в обобщающих историях.

Иными словами, решение проблем синтеза при построении обобщающих исторических трудов выходит за рамки академического теоретизирования к их действительно исходному пункту – позиционированию истории в плоскости сопряжения прошлого (традиции) и настоящего (в широком смысле как эпохи модерна и в узком – как текущей современности). Актуальная действительность на Северном Кавказе настолько сложна и амбивалентна, что можно было бы спросить, сколько «прошлых» имеет такое «настоящее» и сколько разных, но в одинаковой мере «объективных историй» региона может быть написано сегодня? Есть ли возможность рационально обосновать выбор позиции в этой системе координат, не сводя его к акту сознательного воления, отнесенного только к некоей иррациональной сверхценности?

Если ограничивать свой взгляд горизонтом текущей ситуации, то можно оказаться в тисках познавательного скептицизма или субъективного произвола в интерпретации прошлого. Но если ориентироваться на будущее, в котором сохраняется возможность неконфликтного взаимодействия альтернативных программ, диалога социокультурных и политических субъектов «текущей истории», поддержания сложных, «многомерных» структур личной и групповой идентичности, то появится возможность различать «более» и «менее» объективные обобщающие истории Северного Кавказа. Внутреннее богатство и «подвижность» такой перспективы препятствуют редуцированию прошлого к простому обоснованию какого-либо фундаментализма – державного, этнического, религиозного или идеологического. Предмет исторического анализа проблематизируется, поскольку проблемой, требующей решения, является искомое будущее. Познавательный интерес, направленный не на доказательство некоей истины, а на обобщение опыта прошлого в целях эффективного воздействия на «настоящее», требует тщательного выявления и учета всех значимых фактов, как согласующихся, так и не согласующихся с той «идеей будущего», которая положена в основу общей интерпретации исторического процесса.

Для историков Северного Кавказа было бы методологически продуктивным принять формулу Ю. Хабермаса «модерн – незавершенный проект» и осмыслить его тезис об универсальном единстве истории не как предзаданной, а как ставшей реальности, предполагающей *политическую институционализацию взаимодействия социокультурных систем, способных к рациональной саморефлексии.*

**«Региональные истории» – новое направление истории
или мифологии?**

В российской историографической ситуации последних 15-ти лет можно условно выявить три крупные составляющие – работы ведущих российских историков (преимущественно московских и петербургских), в любом случае речь идет об историках интегрированных в научное сообщество (конференции, совместные сборники, гранты), либо работающих в одном исследовательском поле (тема, методы, научный подход к источнику); работы зарубежных авторов, активно вовлекаемые в исследовательский дискурс первой группой; работы национальных или региональных историков, существующие сами по себе, формирующие локальный историографический фон, а на его основе – новые мифы, назовем последние «региональными историями».

За рамками нашего внимания преднамеренно оказалась немалая группа авторов – представителей так называемой «фольк-хистори», поскольку методы исследования, вернее их полное игнорирование не позволят считать данные публикации частью научного процесса. Идеи представителей этой маргинальной группы в какой-то степени активно воспринимаются авторами «региональных историй», что свидетельствует о методологической несостоятельности последних.

Анализ обобщающих трудов, а также монографий, выпущенных в Башкортостане за последние 15 лет приводит к нерадостным выводам. Подавляющее большинство из них написано либо с позиций марксистско-ленинской методологии, либо представляют собой причудливую эклектику, методологически беспомощную. Здесь и «социально-экономическое развитие края», «национально-освободительные движения» – речь идет о восстаниях башкир в XVII–XVIII вв., до этого времени вошедших добровольно в состав России, здесь же «борьба народных масс против феодально-крепостнического и национального гнета». Все события описываются преимущественно с позиций классовой борьбы, формационного подхода. Новые работы, вышедшие в последние годы за пределами республики, не проанализированы, их как будто бы нет. Зарубежная историография представлена публикациями 1950–1960-х гг., подвергающимися тотальной критике, из нее в лучшем случае используется термин «ментальность» в самых разных его трактовках. В тексты вплетены гумилевская пассионарность, «евразийство» и иные противоречивые положения, соединенные волей автора в некую конструкцию. Общим местом всех работ местных историков является слабое знание источниковедения, трактовка событий прошлого с позиций современности («добровольное вхождение Башкирии в состав России – начало становления федерализма в России»). Проблемы этнично-

сти занимают в них особое место, две тенденции – удревить историю этноса, показать его количественный рост – определяют общую направленность, причем если в работах советского периода была определенная логичная структура, то в современных ее нет. Вообще слабое понимание научной терминологии, использование штампов прошлых лет – визитная карточка такого рода текстов.

Казалось бы, нет явной угрозы исторической науке, в силу локальности «региональной истории». Но, во-первых, она входит в многоуровневый региональный образовательный компонент. Во-вторых, именно ее тиражируют местные издательства, при полном отсутствии иных подходов. В-третьих, опираясь во многом на «региональные истории», местные политические элиты конструируют собственные подходы к взаимоотношениям «центр – периферия», апеллируя в своей риторике к «научной истории». Как частное дополнение, сочувственное цитирование представителей «фольк-истории» в «региональных историях» придает им роль полноправных участников академического дискурса (в Башкирии – С. Галлямов).

Формируется локальный историографический фон, в котором вся история представлена одним продуктом – «региональной историей», она становится общим местом, новое поколение историков попадает под его влияние, тиражируя в худшем виде марксистско-ленинскую доктрину. Представители элит, как политических, этнических, так и научных, опираясь на него, конструируют собственные мифы. В конечном итоге формируется новая региональная мифология, которая, в свою очередь, дает основание для «корректировки» «региональной истории», создавая некий конструкт, еще более удаленный от научного дискурса. Один пример: в 1960-е гг. был переведен на русский язык башкирский народный эпос «Урал-батыр», записанный в начале XX в. латиницей М. Бурангуловым. Никто из современных исследователей его не прочитал, однако, опираясь на адаптированный перевод, «обнаружили» и стали изучать несуществующее тенгрианство у древних башкир.

Почему происходит отрыв от научного сообщества? Причин несколько. Это и нищенское финансирование гуманитарной сферы, неполное комплектование библиотек, коммерциализация книготорговли, психологическая невозможность освоить современные информационные технологии старшим поколением (интернет-ресурсы).

Касаясь авторов «региональных историй» необходимо отметить, что они в меньшей степени заняты собственно историей, используя свои труды для решения задач личного характера. Сложился стереотип: «наукой занимаются Москва и Петербург, «нашей историей» они заниматься не будут, поэтому ей должны заниматься мы». Далее пишется то, что хотят видеть политические и этнические элиты. Поэтому внутреннее развитие «региональной истории» остановилось на уровне 1950–

1960-х гг. (основные ее авторы и потребители – представители элит сформировались тогда как личности).

Для того чтобы дискурс локальной истории, имеющий своё место в исторической науке не превратился в противоречащие друг другу «региональные истории» и региональную мифологию необходимо, на наш взгляд, ляд мер: более точное определение новых полей исторического познания (локальная история, региональная история, краеведение); объективное рецензирование работ вышедших в разных научных центрах; более широкое отражение истории регионов в общероссийских учебных пособиях; создание обобщающего труда по истории России, в котором должна быть отражена региональная история.

Н. Ю. Громакова (Украина)

Польская шляхта Правобережной Украины как объект исторического исследования

Современная историческая наука характеризуется формированием новых подходов в изучении человека, особенностей его материальной и духовной практики в прошлом. Изменение предметной сферы исторических исследований в направлении возрастающей роли антропоцентризма с его вниманием к «маленькому человеку» как субъекту исторического процесса, характерное для историографии второй половины XX в., обусловило формирование новых парадигм, отражающих социально-культурные индивидуальные и коллективные особенности мировосприятия и мировоззрения «людей прошлого» [Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія: Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів. Львів, 2007. С. 10].

Применение новых эпистемологических подходов к изучению прошлого позволяет сегодня с наибольшей степенью вероятности и объективности не только реконструировать историческую картину, но и определить, насколько повседневная практика отдельных социальных групп или даже людей выступила самостоятельным и неотъемлемым фактором исторического развития в целом. Повседневность во всем многообразии ее проявлений (особенности быта, труда, брачно-семейных отношений, образовательных и карьерных изменений и т.д.) тесно связана с экзистенциальными проблемами человека, поскольку включает и мир его личных переживаний и поступков, в повседневной практике происходит индивидуальная адаптация человека.

Одним из актуальных направлений украинской историографии на современном этапе является интерес к отечественной локальной и региональной истории. Он обусловлен спецификой исторического развития отдельных регионов Украины, сформировавшейся под влиянием целого ряда объективных и субъективных факторов, в первую очередь

геополитического характера. К таким историко-географическим регионам относится и Правобережная Украина (ее территория включает современные Волынскую, Винницкую, Киевскую, Хмельницкую, Житомирскую, Ровненскую, частично Черкасскую и Тернопольскую области Украины) с ее полиэтнической и поликультурной средой, сформировавшейся в течение столетий.

Изучение исторических процессов на Правобережной Украине, в частности в первой половине XIX в., неразрывно связано с определением социального статуса и роли местной элиты, представленной преимущественно польской шляхтой, в развитии региона. В данном контексте объектом исторического исследования выступает соотношение социокультурного фона и социального статуса региональной шляхты в исторической ретроспективе, которое характеризуется сложной, многоплановой структурой, и требует, в свою очередь, применения комплексного подхода. Определение сущности и специфики указанного соотношения, исследование векторов трансформации составляющих его элементов актуализирует проблему синтеза результатов не только исторических исследований, но и знаний, полученных в смежных отраслях гуманитарных наук.

Комплексность объекта исследования обуславливает и многоуровневый подход в определении его предметной сферы. Так, например, изучение культуры повседневности шляхты связано с анализом всего разнообразия форм жизнедеятельности сословия, особенностей коммуникации, поведения, саморефлексии, системы ценностных ориентаций и т.д. Анализ индивидуального сознания и индивидуальной деятельности отдельных представителей правобережной шляхты «может стать важнейшей составляющей микроисторического исследования, максимально приближенного и непосредственно обращенного к человеку, к его персональной истории» [История через личность: историческая биография сегодня / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2005. С. 8].

Изучение объекта в контексте интеллектуальной истории актуализирует внимание исследователя на специфике шляхетского менталитета, факторах, которые, с одной стороны, обусловили культурную идентификацию шляхты в рамках «концепции сарматизма», ее сословно-корпоративную солидарность, независимо от внутренней имущественной дифференциации, с другой, – осознание своего особого статуса на региональном и общегосударственном уровне, его трансформацию в первой половине XIX в. вследствие этносоциальной политики официального Санкт-Петербурга. Применение комплексного подхода к изучению правобережной шляхты позволяет исследовать ее и как локальный социум, с присущими ему особенностями восприятия своего предназначения как «форпоста западной цивилизации» на Востоке.

Изучение польской шляхты Правобережной Украины актуализирует необходимость переориентации с описательной истории быта

шляхты на аналитическое исследование историко-психологических, историко-демографических, историко-культурных сюжетов, в фокусе которых будет находиться «маленький человек», выступающий самостоятельным субъектом исторического процесса. Методология такого исследования должна включать применение, кроме собственно исторических, методов смежных гуманитарных наук. Так, например, изучение форм поведения, стратегии социальной адаптации выходцев из шляхетской среды, системы ценностных ориентаций правобережной элиты обуславливает применение методов социологии и психологии.

Таким образом, польская шляхта Правобережной Украины может рассматриваться как самостоятельный объект исторического исследования, структура которого отличается комплексностью и многоплановостью. Его изучение характеризуется расширением предметной сферы и методологических основ в соответствии с формированием новых парадигм в исторической антропологии, конечной целью которых является синтез результатов полученных знаний о прошлом.

Н. В. Ростиславлева (РГГУ, Москва)

Биографический дискурс в конструировании концепции региональной истории (на примере либерального движения эпохи Германского союза)

Германский союз, возникший в 1815 г. и состоявший из 39-ти немецких государств, был довольно рыхлой конфедерацией. Границы отдельных государств не всегда совпадали с характерными для их территорий историческими и культурными традициями. Это образование просуществовало до 1867 г., когда на его обломках под эгидой Бисмарка возник Северогерманский союз, а в 1871 г. – Германская империя.

С 1815 г. датируют начало эпохи либерализма в Европе. Она по-разному проявила себя как в отдельных европейских государствах, так и в рамках Германского союза. Довольно сложно для указанного периода говорить о типичном немецком либерале. Проблема гетерогенности развития германского либерализма в исторической науке была поставлена в 1980-е гг. в работах Д. Лангевисше [Langewiesche D. Liberalismus in Deutschland. Frankfurt/M., 1988], который в 1990-е гг. конкретизировал ее ракурс как «Либерализм и регион» [Liberalismus und Region. Historische Zeitschrift. 1995]. Однако автор не предложил каких-либо методологических вариантов изучения данной проблемы.

До середины 50-х гг. XIX в. практически не существовало устойчивых политических организаций либералов, но было немало ярких фигур в либеральном движении, которые вполне подпадают под определение классического объекта исторической биографии. Сосредоточив главное внимание на изучении персональной биографии, можно про-

двигаться в познании того социума и того пространства, в котором жили и творили либералы. Однако жанровая определенность исторических социальных биографий нередко ставится под вопрос, поскольку в полном смысле слова исторической биографией можно считать лишь жизнеописание, где в центре находится развитие неповторимой личности и ее внутренний мир раскрывается в связи с эпохой и делом, которому она себя посвятила [Павлова Т. А. Психологическое и социальное в исторической биографии // Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации. М., 1995]. Сочетание психологического проникновения историка в мир героя с социальным анализом действительности, окружающей этого героя, Л. П. Репина обозначает как исследовательские полюса современной биографики, но пространство между этими полюсами предлагается рассматривать как поле для экспериментов [Репина Л. П. Историческая биография и «новая биографическая история» // Диалог со временем. Вып. 5. М., 2001. С. 5-12]. Другой продуктивный подход современной персональной истории, который может быть востребован в рамках заявленной проблемы, заключается в актуализации прошлого индивида в контексте изучения его жизни. Причем важным является как прошлое его семьи, так и пространства, где происходило становление личности.

Для изучения выбраны биографии таких заметных фигур в либеральном движении Германского союза как К. фон Роттек, К. Т. Велькер, Ф. К. Дальман, В. фон Гумбольдт, Д. Ганзман. Их происхождение, политическая и научная карьера связаны с разными регионами Германии. Так, Роттек – это «дитя верхнего Рейна», вся его жизнь прошла в герцогстве Баден (немецкий Юго-Запад), пространство которого в силу пограничного положения с Францией и Швейцарией и в связи с расположением на его территории многочисленных торговых путей, всегда тяготело к свободе и было открыто для влияний. Его коллега Велькер родился в г. Оберофляйдене (тогда этот город входил в ландграфство Гессен-Дармштадт, находившее на юго-западе Германии), получил университетское образование в Гисене (государство Гессен-Дармштадт,) и Гейдельберге (герцогство Баден). В Гисене он приступил к преподаванию, но реально академическую и политическую карьеру начал в Кильском университете (город Киль был расположен на территории Шлезвиг-Гольштейна, который находился в унии с Данией. Гольштейн входил в состав Германского союза, а Шлезвиг нет). Как политик и профессор юриспруденции Велькер реализовал себя на немецком Юго-Западе: он стал профессором Фрайбургского университета (герцогство Баден) и депутатом ландтага этого государства. Именно в их биографиях мы видим наибольшее проявление импульсов свободы, поскольку эти либералы сумели, правда, на короткое время сделать реальностью в герцогстве Баден в условиях жесткой цензуры, царящей в Германском союзе, свободу печати. Все это в совокупности позволяет

говорить о ярко выраженных и довольно устойчивых либеральных традициях немецкого Юго-Запада.

Биография Ф. К. Дальмана не связана жестко с одним государством Германского союза. Он учился и работал на территории Шлезвиг-Гольштейна, преподавал в университетах Ганновера и Пруссии (Западной Пруссии). Его обычно называют лидером либерального движения немецкого Севера. В жизнеописании Дальмана прослеживается повышенное внимание к решению Шлезвиг-Гольштейнского вопроса, именно культурные связи и немецкое прошлое этой территории, которая с XIV в. находилась под властью Дании, будет определять вектор его политического поведения в критические моменты истории Германии.

В. фон Гумбольдт и Д. Ганземан были прусскими либералами. Но сама Пруссия, которая в 1815 г. резко увеличила свою территорию за счет включения промышленно развитой Рейнской области, не являлась гомогенным социокультурным регионом. Биография Гумбольдта это жизнеописание масштабного интеллектуала, деятельность которого перешагнула границы Пруссии и Германского союза в целом. Но с другой стороны, даже в реформе образования Гумбольдта проявляется типичный для политической культуры немецкого Востока пиетет перед государством. В биографии Д. Ганземана немало кульбитов, но приоритетность для него экономической свободы неоспорима.

Концепция региональной истории не имеет до сих пор четко очерченной проблематики, но она стремится себя конституировать на основе актуализации регионально обособленных культурных черт, специфической политической истории, физико-географических особенностей и ментальной оснастки социума. Влияние данных факторов вполне можно обнаружить в биографиях заметных фигур либерального движения Германского союза.

В. С. Савчук (Южный федеральный университет)

От истории региональной к истории европейской: уроки Вальтера Шлезингера

Едва ли не во всяком современном обзоре истории исторической науки XX века в центре внимания находится школа «Анналов», существенное место в подобных обзорах отводят также англо-американской историографии. Что касается немецкой историографии XX века, то ей, как правило, уделяют меньше внимания, а при ее характеристике нередко наблюдается определенный схематизм: анализ исторической науки Германии начала XX в. (в первую очередь – наследия М. Вебера, но также – К. Лампрехта, О. Хинтце и др.) сосредоточен на *методологических* поисках ученых, а при рассмотрении немецкой историографии 1930–40-х гг. акценты явно смещаются, и речь идет прежде всего о взаимоотношениях нацистского государства и профессиональных исто-

риков, о *политической* ангажированности последних. Затем, при характеристике исторической науки ФРГ 1960–80-х гг. интерес вновь как бы «возвращается» к *теоретико-методологическим* новациям ученых. Невольно возникает вопрос: не сказывается ли при подобной трактовке основных тенденций развития немецкой историографии XX в. осознанная (или, скорее всего, неосознанная), но, думается, *очевидная предвзятость* самих историографов? Для многих историков чем-то само собой разумеющимся является связь между «прогрессивными» (либеральными, демократическими и даже «левыми») социально-политическими взглядами ученого и его теоретико-методологическими подходами, нередко якобы тоже способствующими «прогрессу» исторического знания. И, напротив, чуть ли не «дурным тоном» считается выявление позитивного, а порой и в высшей степени «креативного», смысла в исторических концепциях и самой исследовательской практике тех ученых, которые отличались консервативным мировоззрением, а иногда, увы, и суждениями националистического толка. В этом отношении стоит внимательнее присмотреться к научному наследию ряда крупных немецких историков первой половины XX в. Одни из них (например, Р. Кечке) были своеобразным связующим звеном между наукой конца XIX и первой половины XX в., творчество других (скажем, Г. Аубина) охватывает собой две трети века XX, третьи (такие, как В. Шлезингер) во многом определили уровень исторической науки Германии XX века.

Имя Вальтера Шлезингера (1908–1984) в отечественной исторической литературе советского периода упоминалось достаточно часто, но, как правило, в резко критическом духе и даже в числе «бывших идеологов фашистского рейха». Согласимся, что некоторые факты биографии В. Шлезингера (он вступил в НСДАП – по инициативе одного из своих тогдашних учителей – в 1929 г., т. е. за несколько лет до прихода нацистов к власти) позволяют аргументировать подобные, в целом не соответствующие действительности, заключения. Ибо сам факт партийной принадлежности (будь то к национал-социалистической или большевистской партии) историка, тем более – совсем молодого человека, не позволяет говорить о нем, как об «идеологе» (фашистского «рейха» или сталинского режима). По воспоминаниям немецкого историка Г. Патце, В. Шлезингер рассказывал ему, что уже с 1934 г., когда стали более очевидны для него тенденции политического развития Германии, он почти не участвовал в партийных мероприятиях. В любом случае, творческая деятельность и сама биография В. Шлезингера позволяют в более сложном ракурсе рассмотреть проблему нравственной и научной ответственности немецких историков, сотрудничавших в 1930–40-е годы с нацистским государством.

Научное наследие В. Шлезингера многогранно, как с точки зрения широты и разнообразия привлекаемых им источников и используемых в его трудах методических подходов, так и с точки зрения тех истори-

ческих сюжетов, которые привлекали ученого на протяжении его, длившейся более полувека, исследовательской работы. Многими импульсами для своей научной деятельности В. Шлезингер обязан Рудольфу Кечке, чьим ассистентом в Семинаре по региональной истории и изучению поселений в Лейпцигском университете он был в середине 1930-х гг. Но когда в 1936 г. Семинар был преобразован в Институт по изучению немецких земель и немецкого народа (Institut für Deutsche Landes- und Volksforschung) с новым руководством и вполне очевидными политическими установками, В. Шлезингер перешел в Исторический институт того же Лейпцигского университета, который возглавлял известный в дальнейшем медиевист Герман Геймпель. Именно здесь В. Шлезингеру удалось осуществить «прорыв» в самом подходе к изучению многих узловых проблем средневековой германской и европейской истории. До него, как правило, *Verfassungsgeschichte* (конституционная история) и *Landesgeschichte* (история земель, или региональная история) изучались и разными учеными, и на различной источниковой основе. Первая покоилась на памятниках права и нередко рассматривала правовые и политические институты «сами по себе», вне должной связи с социальными, хозяйственными и культурными сдвигами в обществе, к тому же недостаточно учитывая специфику функционирования одних и тех же институтов в различных регионах (землях). Вторая, напротив, относительно мало внимания уделяла исследованию юридических норм и политических институтов, концентрируя свое внимание на истории поселений, роли природно-географических обстоятельств, формах хозяйственной деятельности и т.п. Соответственно при изучении *Landesgeschichte* источники были иными. Благодаря трудам В. Шлезингера (начиная с его исследования «Возникновение территориальной власти»), а впоследствии работам его учеников, и конституционная, и региональная история существенно трансформировались.

В. Шлезингер был автором основополагающих работ по еще, по меньшей мере, трем обширным проблемам. Это: исследования о характере и сущности королевской власти в Германии и возникновении немецкого народа; работы по истории средневекового европейского города; наконец, труды по истории немецкого «восточного движения» и славяно-германских отношений в средние века. Именно он предложил новую трактовку этих отношений – не как «Дранга нах Остен» и даже не как «восточной колонизации», а как естественного процесса «восточного движения», обусловленного социальными, хозяйственными и культурными предпосылками, а не военно-политическими причинами.

Краеведческая библиография как исторический источник

Самостоятельную область научно-библиографической деятельности представляет краеведческая библиография. Она складывалась постепенно, в процессе выявления, описания, учета и систематизации исторической литературы, опубликованных источников, а также изданий, обобщающих библиографических трудов и пособий по местной истории, специальных справочно-библиографических трудов. Они представляют собой репрезентативный и универсальный исторический источник, без которого невозможно комплексное изучение истории и культуры региона. О возможностях источниковедческого изучения библиографических пособий писали Н. В. Здобнов, М. В. Сокурова, М. В. Машкова, О. С. Острой, Б. А. Семеновкер, А. И. Слуцкий, В. Ф. Патракова, Л. М. Есипенко и др.

Исследователь начинает работу с предварительного знакомства с исторической литературой, с публикациями, посвященными отдельным сюжетам изучаемого явления, и основным его источником на этом этапе работы являются библиографические пособия и справочные указатели. Однако они помогают не только разыскать необходимые публикации, но и проследить исследовательский интерес к рассматриваемой проблеме. Библиографический указатель, отмечал Н. В. Здобнов, «год за годом фиксирует нарастание книг и статей. В каталогизационных записях сменяются авторы, появляются новые темы, новые термины, новые страны, районы и географические пункты. Выясняется последовательность и преемственность изучения. Каждая книга и статья фиксируют определенный шаг вперед, а в порядке исключения, в некоторых случаях, застой или даже шаг назад... Если кроме обычных адресных сведений, необходимых для научно-производственных целей специалисту, мы добавим в каталогизационных записях имена издателей, названия типографий, тиражи, мы увидим центры издания [научной или производственной] литературы, узнаем учреждения и лица, оказавшие содействие ее опубликованию, увидим также степень распространения этой литературы, ее читаемость и потребность в ней». Действительно библиографические указатели являются своеобразным отражением характера запроса общества на существующие публикации, которые и фиксируются в данном справочном пособии. Структура библиографического указателя, характер вспомогательных ключей к нему, система записей, стиль аннотаций, все это показатель авторской позиции составителя-библиографа, его понимание исторической реальности. Библиографические издания – особый вид источников для изучения различных вопросов, связанных с организацией научной дея-

тельности, проблемой научных кадров, тенденцией развития научных идей, межличностных взаимодействий ученых.

Функции и возможности краеведческой библиографии гораздо шире, чем просто удовлетворение потребностей исторической науки. Во-первых, она, позволяет увидеть и понять специфику, тенденции и особенности развития интеллектуального сообщества региона, истории его изучения в различные исторические эпохи. Во-вторых, краеведческая библиография обеспечивает понимание интеллектуальных «пересечений» краеведческих текстов, способствует постижению их смыслов. В-третьих, эта библиография «сосредотачивает» и «удерживает» в региональном культурном поле краеведческое информационное богатство, являясь в то же время одним из самых оперативных средств доступа к нему. В-четвертых, библиография выполняет функцию систематизации источников, она отражает результаты интеллектуальной деятельности, которая дает возможность интерпретировать социокультурную среду, в которой эта деятельность осуществлялась.

Информационные возможности библиографии как источника изучения истории науки и краеведения имеют две стороны: историческую и науковедческую. Первая фиксирует предметную область исследования и ее сегментацию в тот или иной период. Науковедческая – дает более широкое представление об исследователях, занимавшихся и занимающихся разработкой проблем истории науки и краеведения, об уровне вовлеченности в этот процесс представителей различных направлений дисциплинарного знания, а также о характере околонаучного сообщества (в лице издателей, краеведов-любителей, собирателей древностей и т. д.). Своеобразие этого источника на уровне типологизации (общая, специальная, отраслевая библиография, биобиблиография) отражает степень участия отдельных видов источников в научном процессе. Для историка науки интерес представляют научные публикации, которые являются отражением результатов интеллектуальной деятельности. И здесь одним из направлений исследования выступает библиометрия, занимающаяся анализом библиографических данных научных публикаций. Ее объектом изучения выступают публикации, сгруппированные по тематическому, проблемно-хронологическому, географическому, авторскому, видовому и др. признакам. Она дает возможность проведения своеобразного мониторинга науки, так как количественные исследования направлены не столько на получение конкретной информации о проблемах в той или иной науке, сколько на выявление тенденций в ее развитии. Изучая количественные данные, статистику библиографических изданий и материалов по странам, регионам, рубрикам, авторам, научным школам и т.д., историки науки могут сделать выводы о значимости исследуемого явления, популярности областей научного знания, научной эффективности того или иного исследователя.

**У истоков локальной истории в донской историографии
(есаул Е. Н. Кательников об истории своей станицы)**

Первая четверть XIX в. была временем возникновения трудов по истории Дона, написанных донскими казаками. К числу наиболее ранних относились «Исторические сведения Войска Донского о Верхне-Курмоярской станицы» есаула Е. Н. Кательникова, созданные в 1818 г. Труд Кательникова выражал особенности формирования исторического сознания донского казачества того времени. В нем проявлялся повышенный интерес как к общей истории Войска Донского, так и к истории отдельных станиц. Этот труд отражает высокую степень образованности автора, которому были знакомы сочинения русских историков и, в частности, И. Н. Болтина, на которое он ссылался. Он также был способен дать удовлетворительное объяснение сложившимся среди казачества понятиям «городок» и «юрт». Им было уделено внимание истории общежития, правления, права и религии на Дону. По существу, такой интерес соответствовал особенностям историографии эпохи романтизма с ее направленностью на познание конкретных сторон прошлого конкретных исторических сообществ. И, в соответствии с формировавшейся традицией историографии романтизма, Кательников использовал весьма широкий круг источников: исторические особенности речи казаков, донской фольклор, устные повествования жителей станицы, относившиеся к ее прошлому, обычаи, связанные с порядком избрания и функционирования местного управления и обычного права, родовые и семейные предания казачьего рода Кательниковых.

Знавший французский, немецкий и польский языки и знакомый с российской историографией, Кательников был в еще большей степени связан с традиционной донской культурой. Он в полной мере выступал носителем исторического сознания, характерного для широких слоев казачества. Особенно наглядно это выразилось в описании им истории порубежного размежевания с соседними станицами – Верхнекурмоярской и Зимовейской. Согласно есаулу, на рубеже между Верхнекурмоярской и лежавшей выше по Дону Зимовейской станицей зачинщиками задоров выступали зимовейцы, которые «озорничали», тогда как казаки родной для историка станицы были не при чем. В этом проявился отход от объективности, характерной для народного исторического сознания и построенной на основе противопоставления «своих» и «не своих».

Как представитель историографической традиции эпохи романтизма, Кательников придавал исключительно большое значение народным преданиям. Осознавая важность уяснения характера и особенностей исторического сознания народа, он передавал их во всех подробностях, включая содержащиеся в них неточности. Так, передавая

казачье предание о пребывании на Дону Петра I, он не опускал существенную неточность, в соответствии с которой царь будто бы брал крепость Таганрог, при том, что сам он знал о взятии Петром не Таганрога, но Азова. В этом проявилась проницательность его как историка своего времени, понимавшего особенности фольклорного источника и всей содержащейся в нем информации как выражения духа той исторической эпохи, в которой он возник. Это соответствовало понятию о духе исторической эпохи, способность выявления которого признавалось в первой половине XIX в. очень важным качеством историка.

Как носитель народной казачьей культуры, Кательников не только в совершенстве знал местные предания и рассказы станичных старожил, но и органично вводил их в историческое повествование. Это, в частности, касается рассказа о выборах станичного атамана, о проведении в станице суда, о полевых и сенокосных работах. Особый интерес представляют некоторые эпизоды, связанных с боевой жизнью станичников. В частности, это относится к рассказу о поездках казаков на Маныч за солью. Поездки, в изложении Кательникова, представляли собой целые военные экспедиции, поскольку в ходе их казакам приходилось отбиваться от возможных нападений со стороны ногаев, горских черкесов и калмыков. То же самое относилось к рассказу о том, как ехавший с работы в поле казак благодаря знанию местности и меткой стрельбе сумел отразить нападение целой группы калмыков. В подобных преданиях подчеркивался высокий уровень боевых казачьих навыков.

Характер семейного предания Кательниковых носил рассказ о борьбе со старообрядцами, в которой активное участие принимал его отец. Внимание к этой стороне прошлого станицы у Кательникова не случайно. Сам он был главой секты духоносцев на Дону, но подчеркивал свою приверженность православию. Отсюда заметны мотивы его личной неприязни к старообрядцам.

Труд Кательникова заполнен сведениями о жителях станицы, казаках и казачках. Казаки показаны им в разных ситуациях: на станичном круге при выборах атамана и в ходе судебных разбирательств, на хозяйственных работах и в столкновениях с соседями. Особое внимание уделял историк казакам, проявлявшим боевую доблесть и удостоенных в народе почетного звания «царских слуг». В такой подаче материала проявилось умение Кательникова дать разностороннюю историческую характеристику станицы, а также выразились типичные черты воинской ментальности и системы ценностей донского казачества.

На развитие донской историографии первой половины XIX в. труд Кательникова не повлиял. Только в 1860 г. он был впервые опубликован. При жизни автора он не мог быть опубликован в связи с его ссылкой в Соловецкий монастырь в 1826 г. как активного сектанта-духоносца, где в 1854 г. он умер. Этот труд был наглядным свидетельством внимания на Дону к местной истории в первой половине XIX в.